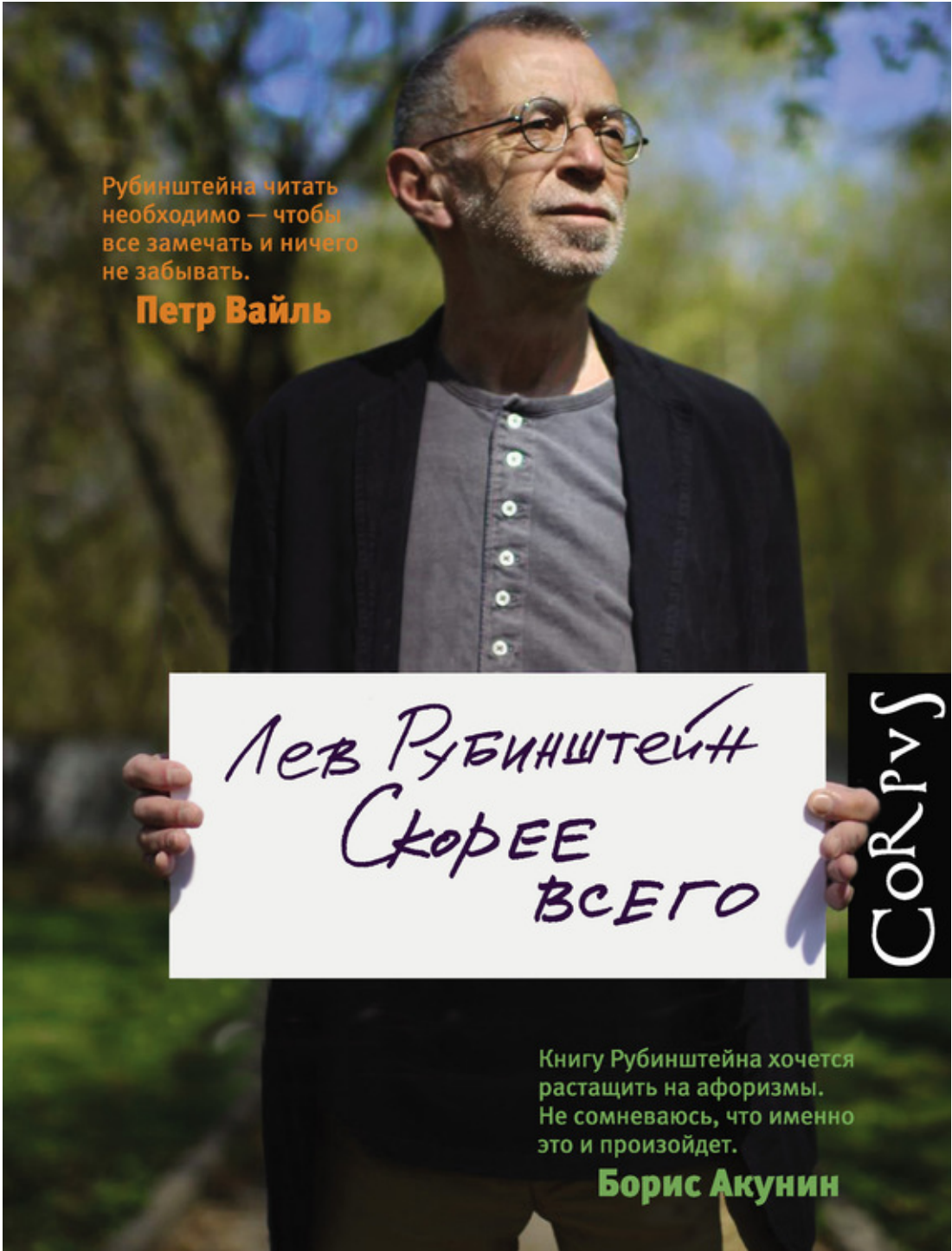




Рубинштейна читать
необходимо — чтобы
все замечать и ничего
не забывать.

Петр Вайль

Лев Рубинштейн
СКОРЕЕ
ВСЕГО

CoRpus

Книгу Рубинштейна хочется
растащить на афоризмы.
Не сомневаюсь, что именно
это и произойдет.

Борис Акунин

Лев Семенович Рубинштейн

Скорее всего

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6181869
Скорее всего / Лев Рубинштейн.: АСТ, CORPUS; Москва; 2013
ISBN 978-5-17-079730-1

Аннотация

Один из основоположников московского концептуализма, поэт, едва ли не самый известный российский колумнист последних лет, Лев Рубинштейн всегда первым высказывается по важнейшим поводам. И каждый раз его едкие и остроумные колонки расходятся цитатами по соцсетям. Рубинштейн как никто умеет видеть мелочи, из которых складывается наша жизнь, и облекать свои наблюдения в слова. Новая книга Рубинштейна «Скорее всего» – это обновленный и разросшийся более чем в полтора раза сборник его колонок «Духи времени», вышедший пять лет назад. С тех пор многое изменилось, но глупость и невежество, о которых пишет Рубинштейн, остались неизменными. Значит, это не последний сборник Льва Семеновича.

Содержание

Предисловие	4
Скорее всего	8
Начнем, пожалуй...	8
На колу мочало	10
На колу мочало	10
Если вся школа закукарекает	11
Откуда что берется	13
В один прекрасный день	15
Булгакова(-о) знаешь?	17
О национальной гордости великороссов	19
Ты кто?	20
При чем здесь чукча	22
Узнай о себе	24
Мрачные бесы	26
Будем как Мбуругу	28
Дункаль	30
Тяжелые соты и нежные сети	32
Скорее всего	34
О том, чего не было	37
О том, чего не было	37
О страхах	39
Сон Попова	41
Игрушечный попугай	43
Скелет писателя	45
Так само получилось	47
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Лев Рубинштейн Скорее всего

Предисловие Ежик кучерявый

В самой первой (после введения) главке “На колу мочало” – образец писательского метода Льва Рубинштейна, способа его мышления.

Он огорченно задумывается, почему в России постоянно приходится заново расставлять исторические акценты, напоминать об очевидном. Пытается найти ответы в поздней грамотности населения, в крепости устной традиции. Сюда можно было бы добавить многовековую непривычку к критическому чтению. Главную Книгу не то что не толковали, как в других христианских странах и народах, – даже не читали, а слушали, причем не на родном языке. А когда наконец перевели с церковнославянского на русский и сделали доступной – вскоре вовсе запретили, на любом наречии.

Рубинштейн, однако, не задерживается на поисках первопричин. Его всегда волнует сегодняшний облик явления. “Что” важнее, чем “почему”: оно, *что*, влияет на нынешнюю жизнь. Констатируя: “Все большее право голоса обретают вечные второгодники”, с характерной своей трезвостью Рубинштейн произносит главное: “Историко-культурная амнезия не есть болезнь. Это такое здоровье”.

Ага, непробиваемое, неуязвимое душевное здоровье. То самое, которому дивился Василий Розанов: “Русь слиняла в два дня. Самое большее в три... Что же осталось-то? Станным образом – буквально ничего”. О чем почти истерически едва не теми же словами написал Георгий Иванов: “Невероятно до смешного: / Был целый мир – и нет его... / Вдруг – ни похода ледяного, / Ни капитана Иванова, / Ну абсолютно ничего!” А потом, в 1991-м, так же стремительно рухнул новый и тоже казавшийся неколебимым целый мир. А уже через десяток лет пошел вспять, и опять все надо повторять и объяснять заново. “Историко-культурная амнезия не есть болезнь. Это такое здоровье”, – говорит Рубинштейн. Анализ и диагноз разом. Глубокий, основательный, подробный – два предложения из восьми слов.

Любопытно, что уже в следующей главке снова косвенно тревожится тень Розанова. Рубинштейн мельком замечает: “Мне, впрочем, всегда были подозрительны люди, неумеренно много талдычащие о нравственности. Так же, как, скажем, и о любви к родине”. Это парафраз розановских мыслей: “Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали” и “Чувство Родины должно быть великим горячим молчанием”. Парафраз, разумеется, невольный, порожденный одинаковым художническим принципом – изъясняться прямо и свободно. Да, вот так просто: всего только прямо и всего только свободно – только нужен еще талант. Чтобы читать было интересно.

Рубинштейна читать хочется – для получения физиологического удовольствия. Когда никого рядом, а ты смеешься, даже хохочешь в голос и выбегаешь, чтобы пересказать.

Рубинштейна читать нужно – это душеполезно.

Рубинштейна читать необходимо – чтобы все замечать и ничего не забывать.

Одна из рубинштейновских книг называется “Случай из языка” – по сути, таково название всех его книг и всей его жизни, осмелюсь сказать. “Пространство языка – единственное пространство, реальность которого не подлежит сомнению”, – утверждает он. В главке “Слово на слово” речь о том, как разность мировоззрений проявляется в языковой несомне-

стимости: “Ключевые слова и понятия ударяются друг о друга с диким кляцаньем и высеканием искр”.

Слова Рубинштейн знает все, а своими владеет виртуозно. На это оружие и надеется во всех случаях жизни: “Вместо того чтобы обидеться, ты начинаешь смеяться”. Ирония – “противоядие против мракобесия всех видов”. Он убежден, что “язык зла хаотичен и нерелексивен. Зло никогда не бывает остроумным. А если бывает – то это уже не зло”.

Универсальный рецепт: смешно – не обидно, смешно – не противно, смешно – не страшно. Все более-менее это знают, но надо же уметь применять. Рубинштейн так свято верит в прописанное (буквально) средство, что даже увлекается – ведь зло бывает остроумным и может оставаться при этом злом, когда оно чернит истинные добродетели и рушит заслуженные репутации. Однако всегда приятнее перехлест в благодушной недооценке, чем в осудительной переоценке.

В одной из хрестоматийно рубинштейновских историй он рассказывает о каком-то музее: “К совершенно пустой витрине была пришпилена бирка. На ней значилось: “Кучерявость у ежей”. На другой бирке, чуть ниже, было написано: “Экспонат на реставрации”. Да не на реставрации – вот он, книжки пишет: ежик, но кучерявый. Редчайшая разновидность.

При всей язвительности и порывах гневного негодования Рубинштейн в большинстве случаев добродушен – как раз потому, наверное, что уверен в силе (своих) слов. Как трогательно, хотя правдиво и без прикрас, описано коммунальное детство. Как дан портрет коммуналки – смешной, парадный, едкий, домашний, вроде групповых портретов Хальса.

Подробный и сжатый очерк тенденций, явлений и стиля пятидесятых: в полстраницы вместились то, что у других заняло бы толстый том. Чем там занимаются на факультетах журналистики, кого изучают? Есть у тех, изучаемых, рубинштейновская способность к концентрации оригинальной мысли? Запомнить его тесноту слов в строке – и попробовать самому. Ну, мыслить на чужом опыте и таланте научиться нельзя, но хоть глаз наметать – что хорошо, что плохо. Хорошо – чтобы небанально.

Рубинштейн пишет про поражающую взрослых свежесть детского словоизъявления: “Они как-то вдруг формулируют то, что должны были бы сформулировать мы сами, если бы умели”. Получилось, что это он про себя, он именно так умеет, он за нас старается.

С детски равным вниманием и сочувствием сопрягаются музей и помойка: андерсеновское внимание к вещному миру и андерсеновская способность одушевлять неодушевленные предметы.

С нежностью описан сортир, по недостатку жилплощади превращенный в кабинет, в котором почерпнуто (каламбур случаен) так много разумного, доброго и пр.: “Настольные книги читаются там, в местах, где нет стола, но есть покой и воля”. Это стихи вообще-то: одна строка – четырехстопный амфибрахий, другая – шестистопный ямб. Пробыло-таки поэта на поэзию – и то сказать, предмет высокий.

Щедро и походя Рубинштейн разбрасывает то, что другой бы любовно мусолил страницами. Ему не жалко, и в этой расточительности – расчет профессионала.

Характерно подано то, от чего хохочешь и выбегаешь. Рассказ врача о записи в сельской больнице:

“Укус неизвестным зверем в жопу”. Начало романа, написанного девятилетней девочкой: “Герцогиня N сошла с ума после того, как узнала о том, что ее дочь незаконнорожденная”. Бомж, которого прогоняла буфетчица, грозя вызвать милицию, “повернулся лицом к очереди, развел руками и сказал: “Нонсенс!”. О себе: “Кассирша в нашем супермаркете оголошила меня вопросом: “Молодой человек! Пенсионное удостоверение у вас при себе?”

Самое уморительное отдано другим – вряд ли потому, что оно в самом деле подслухано и автор поступает благородно, не присваивая чужие шутки. Похоже, часто похоже, что шутки все же его собственные, но он умно и дальновидно вкладывает их в уста персонажей,

тем самым создавая животрепещущую панораму, а не фиксируя отдельный взгляд из угла. Мелкое авторское тщеславие отступает перед большой писательской гордыней. Тут высший пилотаж: понимание того, что пересказанная чужая реплика – *твоя*, если ты ее вычленил из людского хора, запомнил, записал и к месту привел. *Твоя* и книжная цитата с какой угодно добросовестной сноской – если ты приподнял ее на пьедестал своего сюжета. В подслушанной речи и прочитанной книге не больше отчуждения, чем в своих снах или мимолетных мыслях: это все *твое*. “Мой слух устроен так, что он постоянно вылавливает из гула толпы что-нибудь поэтическое”, – говорит Рубинштейн. Все-таки, наверное, не совсем так: его слух ловит и преобразует услышанное в поэтическое – потому что “любой текст в соответствующем контексте обнаруживает способность прочитываться как объект высокой поэзии”. Потому что “жизнь, вступая время от времени в схватку с жизнью и неизменно ее побеждая, сама же литературой и становится”. Это и есть случай из языка. Случай Рубинштейна.

Описывая свои школьные годы, он замечает: “Ученичок я был еще тот. Нет, учился-то я как раз неплохо – не хуже многих. Но я (курсив мой) *вертелся*”.

И, как видим, продолжает – это точное описание способа познания жизни. Озирая мир благодаря выбранному методу на все 360 градусов, Рубинштейн, невзирая ни на что, все-таки вертится!

В книге 62 главы + введение = 63 фрагмента. Охват тем широчайший: писательское призвание, надписи на заборах, актерство и притворство, тоска по СССР, автомобиль глазами пешехода, еврейство, смысл Нового года, эрозия языка, ксенофобия, попрошайки, природа страха, пьяные на улицах, футбол как провокатор агрессивности, страшная и заманчивая Москва, вещи в нашей жизни, запахи, коммуналка, китч, храп, интеллектуальная роль сортира, “свой путь” России. Сколько набралось навскидку? Двадцать одна – всего – то треть.

При этом Рубинштейну словно мало разнообразия в его дробной, многофасеточной исповеди сына века. Он все не унимается, смотрит, запоминает, перечисляет. Перечни жизни – одно из его искуснейших фирменных изделий. Ладно когда речь о весне, но вот – храп: “Хлопотливые будни ночных джунглей, грозное рычание разгневанного океана, широкомащтабное танковое сражение, встревоженная ночной грозой птицеферма, финальный матч мирового чемпионата по футболу, брачный дуэт кашалотов, шепот, робкое дыханье, трели соловья”.

Эссенция, она же поэма; конспект, он же песня. И тут же – мастер-класс элегантности письма и точности формулировок.

Емкие метафоры России изготавливаются из подручного (подножного) материала: “Если водка – воплощение всего человеческого, то лед – всего государственного”.

Стиль – сжатость: “Да стоит ли так много говорить о “великой стране”, если ты и правда так уж уверен в ее величии?” Или такое: “Когда не очень получается стать нормальными, приходится становиться великими, тем более что это куда проще”. (Снова вспомним Розанова: “Хорошие чемоданы делают англичане, а у нас хороши народные пословицы”).

Эпитетов, как пристало истинному стилисту, немного, но уж когда есть, то они начеку: “Жирный гламур, наглежащая от полной безнаказанности попса, несовместимый с жизнью телеюмор”.

Небрежным движением меняются местами заглавная и строчная: “А кто же у нас будет путиным на следующий срок? Неужели опять Президент?”

Исполненный здравого смысла Рубинштейн адекватен – редкое качество. Нет иллюзий – нет разочарований. Но есть надежды – значит, есть горечь. Есть находки – значит, есть радость.

Он пишет о некоем интеллектуале: “Это не оппозиционер и не апологет государства. Это его трезвый критик и ироничный комментатор. Это официально признанный носитель независимого взгляда. Это диагност”.

О ком бы ни писано – перед нами автопортрет. Дан в главке с примечательным названием “Превратности любви”. А за что любить диагностов? Не за диагноз же, в самом деле.

Петр Вайль

Скорее всего

Начнем, пожалуй...

У многих эта проблема считается едва ли не главной. Да не у многих – практически у всех. Проблема эта, если обобщенно, формулируется так: “С чего бы начать?” Или еще говорят: “Главное – начать. Дальше уже пойдет”.

Откуда такая уверенность, что пойдет? И почему игнорируется такая вещь, как “чем все закончится”? Неужели только потому, что это и так вроде бы известно? Чем-чем? Ну понятно чем. Все умрем, короче...

Нет, говорят, главное – начать. Или же, что еще главнее, не начинать вовсе. Это тоже имеет кой-какой смысл. Я вот прочитал недавно в интервью одного, что существенно, журналиста интересные соображения о том, что если бы, мол, не было свободных средств массовой информации, то не было бы и терактов. С соответствующими выводами. В общем-то, это правильно. Террор, если это, конечно, не террор государственный, только и может что являть себя на фоне демократических, открытых, прозрачных декораций. А уж свободная пресса в его системе координат – это, в сущности, его же трибуна. Все правильно. Кому интересно взрывать что-либо и кого-либо, а тем более себя самого в ситуации, когда об этом никто не узнает. А если и узнает, то исключительно из шипящих по техническим в основном причинам враждебных голосов.

Все правильно. Но не более правильно, чем то обстоятельство, что если бы не случилось так, что человек родился, то он бы и не умер. Полагать любое начало причиной любого конца – вечная как мир логическая ловушка. В причинно-следственной системе некоторых племен бассейна Амазонки, например, считается, что ветер дует оттого, что качаются деревья. Я, между прочим, не утверждаю, что это не так. Просто у одних так, а у других иначе.

Начало, в том числе и начало текста, действительно необычайно важная вещь. Вот, допустим, сижу я сейчас за своим компьютером и пишу эти строки, а справа и слева от меня сидят двое моих уважаемых коллег и пытаются начать текст – каждый свой. Тот, который слева, не дает мне писать и требует, чтобы я придумал заголовок к его статье. Без заголовка он, видите ли, не может выдать из себя ни слова. А с заголовком он, видите ли, может. Пожелаем ему удачи. Тот же, который справа, открыл файл, написал свои имя и фамилию и теперь сидит уже минут сорок, пытаюсь сочинить первую фразу.

А что тут можно сочинить?

Вот раньше, во времена Большого стиля, было куда как легче. Напишет человек что-нибудь вроде того, что *“Веками человечество...”*, и пошло-поехало. Это не менее надежно, чем век тому назад – *“Наши полк стоял...”* Тут ведь сам язык поведет тебя куда надо вплоть до Киева, а если повезет, то и дальше. Или так: *“Собирались начали еще затемно”*. Чем плохо? Или: *“С утра дорогу развезло, и до Воропаевки добрались лишь к девятому часу”*. У таких начал нет проблем и с продолжением. Где-то ближе к середине легко и непринужденно может возникнуть что-то вроде *“От местных мужиков удалось узнать, что...”*. А если тебя пробило на пахотно-сивушную “живинку”, то после *“Выпили по первой. Похрустели ядерной хозяйкиной капусткой. Помолчали. После второй языки помаленьку развязались”* вообще уже все пойдет, что называется, мелкими пташками. Чужой, но зато проверенный стиль выведет тебя как слепого на широкую дорогу. Другой вопрос – что на этой дороге делать? Куда она приведет, кроме кассы, да и это под большим вопросом?

Так что делать нечего. Опять приходится думать. Думать о начале. А если ничего толкового не придумаем, отмахнемся самоцитатой: *“Можно начать с чего угодно, будучи уверенным в том, что любое начало в данном случае будет многообещающим”*.

На колу мочало

На колу мочало

Одной из характерных и, увы, неистребимых особенностей нашей культурной ситуации является необходимость время от времени заново объяснять, кто есть кто и что есть что. Историко-культурная амнезия – хоть и досадное, но неперемное условие протекания культурных процессов, и с этим приходится считаться. Что же делать, если все время приходится напоминать об очевидных вроде бы вещах.

Амнезия эта, как кажется, есть следствие глубоко укорененной в российском общественном сознании устной традиции. Может быть, это объясняется относительно поздней грамотностью населения. А может, поздняя грамотность объясняется этим. Так или иначе, но история здесь не написана и не прочитана. Она рассказана и услышана. Как рассказана, так и услышана. Как услышана, так и забыта. Устная традиция предполагает, как, например, в былине, периодическую повторяемость ключевых элементов повествования. Для того чтобы хоть как-то запомнить. Для того чтобы хоть как-то пересказать другим.

Эта амнезия не есть болезнь. Это такое здоровье. Это такое специфическое восприятие времени, где все, что происходит, происходит практически одновременно. Так не бывает в истории, но так бывает в эпосе.

На одном из радиоканалов записывали интервью с неким писателем старшего поколения. Писатель говорил о многом, в том числе и о Пушкине. Видимо, о Пушкине он говорил настолько убедительно, что, когда писатель отговорил и ушел из студии, молодой звукооператор с некоторым трепетом спросил у ведущего программы:

“Он что, знал Пушкина?” То, что для юноши-звукооператора все происшедшее до его рождения воспринимается как-то нелинейно, что все события прошлого в его сознании существуют практически синхронно, – это, конечно, минус. Но зато он знает слово “Пушкин”. И это несомненный плюс. Впрочем, “Пушкин” – настолько успешный бренд, что не знать его было бы просто неприлично.

С этими самыми брендами, ради удобства и мобильности их бытования лишенными всякого содержательного наполнения, происходят иногда странные вещи. Знакомый художник рассказывал, как недавно ехал в такси. Разговорился, как обычно бывает, с водителем. Водитель спрашивает пассажира о его профессии. Художник честно говорит, что он художник. “Как Малевич?” – неожиданно спрашивает водитель. А ведь многие-многие десятилетия “художником” был Репин или на худой конец Айвазовский. А тут поди ж ты – Малевич. Победил-таки некогда опальный “Черный квадрат”. Отомстил-таки Ивану Грозному за его непедагогичный поступок. Впрочем, знал ли этот водитель о Малевиче что-либо, кроме его фамилии и того, что он был художником, никак не очевидно. С Пушкиным, впрочем, та же история.

Та же история и с историей вообще. На дворе есть кол. На колу мочало. Начинай сказку сначала.

Если вся школа закукарекает

Некоторое время назад, включив зачем-то телевизор, я наткнулся на дискуссию. Дискуссия была в самом разгаре. Речь там шла о свободе и нравственности. И так как-то там все время получалось, что свобода с нравственностью сочетаются плоховато.

Особо активничала там некая дама. Судя по речам, а также горящим глазам и проповедническим интонациям, дама была высокодуховная и патриотичная до невозможности. Дама делилась со зрителем некими откровениями наподобие того, что свободы без твердых нравственных понятий быть не может. Вот ведь удивила! Что за такая свобода сама по себе, риторически восклицала дама. Просто свобода, свобода вообще – это чушь собачья, говорила она. Бывает, мол, свобода убивать, а бывает свобода быть убитым. Ну и прочее в таком духе.

Это, в общем-то, правильно – свободу действительно каждый понимает по-своему. А вот нравственность, видимо, все понимают одинаково. То есть именно так, как ее понимает тетка из телевизора. Мне, впрочем, всегда были подозрительны люди, неумеренно много талдычащие о нравственности. Так же, как, скажем, и о любви к родине.

Представления о нравственности не только индивидуальны, но и историчны. Я, представьте себе, не забыл те времена, когда глубоко безнравственными были короткие юбки, шорты, длинные волосы, драные джинсы, непонятная музыка и “дикие танцы”. Можно ли сказать, что человек, который оскорбляет мои эстетические и моральные представления своим внешним видом и бытовым поведением, ведет себя безнравственно по отношению ко мне и ограничивает мою свободу? Можно, почему нет.

Когда-то, очень давно, я зашел пообедать в какое-то кафе в центре города. Сел, сделал заказ. Пока ждал заказ, вынул из сумки книжку, раскрыл ее, стал читать. Подошла официантка и произнесла удивительную фразу. “У нас не читают”, – сказала она строго. “Чего это вдруг?” – изумился я. Официантка, к ее чести, сочла возможным снизойти до того, чтобы растолковать мне вещи, которые, казалось бы, очевидны для каждого нормального человека. “Так это же кафе, – говорила она медленно и раздельно, как это делают при общении с глухими или иностранцами. – Люди сюда приходят от-дох-нуть. А тут кто-то вдруг читает! Вам вот было бы приятно?” Слово “читает” она произнесла с плохо скрываемой брезгливостью. Я понимаю, что сам по себе процесс чтения был для нее чем-то гадким, тягостным и предельно неуместным в приличной обстановке. Чтение не вызывало у нее никаких ассоциаций, кроме занудной и репрессивной школы, так и не выученного письма Татьяны к Онегину и неисправленной двойки по географии. Я, безусловно, ее обидел, ибо человек, читающий в присутствии людей, похуже будет, чем человек, ковыряющийся вилкой в зубах. Просто уже хотя бы потому, что мотивы его совершенно необъяснимы. В общем, я поступил безнравственно и осознаю это.

Всегда кто-то кого-то обижает проявлением и утверждением собственной свободы. Но обиженный в свою очередь обижает обидчика отсутствием терпимости и неадекватными реакциями. Вспомним хотя бы историю с карикатурными битвами. Обижать других нехорошо, безнравственно. Но шумно и вздорно обижаться на все подряд не менее безнравственно, вот ведь в чем дело.

Время от времени нам назидательно повторяют, что демократия – это не вседозволенность, а рынок – не базар. Сами знаем, что не базар – за базар надо отвечать. А еще говорят: вот почему тебе можно, а другим нельзя? Почему, и другим можно, говоришь ты. Да другим такая глупость и в голову не взбредет, говорят тебе. А мне вот взбрела, говоришь ты, и на тебя обижаются.

Вот еще такую историю я очень люблю. Однажды мою хорошую знакомую вызвали в школу, где тогда учился ее сын. Вежливая, но строгая завуч завела ее в свой кабинет, плотно закрыла дверь и сказала: “Я хочу серьезно с вами поговорить”. Сердце матери тревожно дрогнуло. “Дело в том, – сказала завуч, – что ваш Саша на переменах громко кукарекает”. Слово “кукарекает” она произнесла с каким-то особым нажимом. От сердца отлегло.

“Ну и что такого? – спросила легкомысленная мамаша. – На переменах же”. “Вот это мне нравится! – дидактично воскликнула завуч. – Как это “ну и что”! А если завтра вся школа закукарекает?” Представив себе столь искрометную сцену, моя знакомая, забыв о необычайной важности момента, стала дико хохотать. “Ничего смешного я тут не вижу, – строго сказала педагогический работник. – Это вовсе не смешно”. Чем там кончилось дело, не помню, да это и не важно. Важно то, что вся школа, вопреки мрачным пророчествам завуча, так, кажется, и не закукарекала.

Но что правда, то правда – границы нашей свободы все время трутся, иногда высекая искры, о границы свободы чужой. Тут, в сущности, бессильны и этические, и даже юридические механизмы. Тут приходится опираться лишь на собственную нравственную и эстетическую интуицию. Ну и на опыт, разумеется. А опыт свободы едва ли представим без самой свободы.

Откуда что берется

Чисто теоретически в полном соответствии со священной для меня презумпцией невиновности я готов допустить, что различные наши высокие и не очень законодательные органы не щадя живота своего с раннего утра до позднего вечера заняты исключительно чем-то ужасно созидательным или хотя бы просто позитивным. Видимо, так оно и есть, если судить по тем многочисленным соревнующимся друг с другом в исключительной разумности законодательным инициативам, которые мне удается вылавливать из новостей.

Однако все время получается так, что подавляющее большинство этих инициатив носят все больше запретительную или, пуще того, карательную окраску. Ну как-то так получается. Похоже на то, что коллективный депутатский разум всю свою интеллектуальную энергию расходует на решение вечной русской проблемы – чего бы такого еще запретить.

Корни этого явления, впрочем, залегают на довольно существенной глубине общественной российской традиции, закрепленной даже и на лингвистическом уровне.

Мой эстонский приятель рассказывал мне, как когда-то, уже очень давно, после окончания Тартуского университета его призвали в армию на два года. В качестве офицера. И он стал, как тогда это называли, двухгодичником.

Службу он проходил в Калининградской области, в каком-то маленьком городке. По-русски он говорил вполне свободно и литературно, потому что много читал. Но, будучи все-таки нерусским, знал не все русские слова, точнее, не все их значения. И, как оказалось, не знал он значений слов очень важных, особенно в контексте армейской жизни. Долгое время он, например, никак не мог уяснить онтологического смысла слова “не положено”, с которым он сталкивался постоянно. Это, как он понял далеко не сразу, был универсальный, абсолютно исчерпывающий, хотя и не слишком удовлетворяющий европейский разум моего друга ответ на все вопросы из разряда “почему нельзя то-то и то-то”. Почему, почему. Не положено, сказали же тебе! Вопрос о том, почему именно “не положено”, либо вовсе игнорировался, либо отзывался иррациональным, тавтологическим, но по-своему убедительным ответом: “Потому что не положено”.

Наши законодатели, конечно же, не звери какие-нибудь. Не садисты и не палачи. Они ведут себя, можно даже сказать, вполне адекватно в условиях полного отсутствия самого, пожалуй, насущно важного запрета – запрета запрещать. А потому так лихо гуляют по буфету.

Войдя во вкус, давая волю своему врожденному хватательно-заградительному инстинкту, остановиться они не в состоянии. Да и зачем?

Слегка отшумели страсти по поводу скандального, противоречащего конституционным нормам и международному праву, дикарского гомофобского закона. И вот уже всерьез обсуждается новость о том, что “депутаты Мосгордумы собираются разработать городской закон, запрещающий пропаганду сексуальных отношений среди несовершеннолетних”.

Дело не в том, насколько реальна упомянутая пропаганда. Мне, например, такая пропаганда никогда в глаза не бросалась. Более того, я как-то всегда был уверен, что секс, хоть разнополюсный, хоть однополюсный, хоть взрослый, хоть подростковый, никогда в особой пропаганде не нуждался. Во времена моей юности никакой такой “пропаганды” уж точно не было. И настолько ее не было, что некоторые чистые души даже были уверены, что его в СССР и вовсе нет. А он, вообразите себе, был.

Дело вообще в другом. А именно в том, что никогда не известно, что придет в голову нашим неугомонным законодателям считать таковой пропагандой. И ладно бы еще законодателям. Есть же еще и исполнители подобных законов. Есть еще и неисчислимая рать над-

зрителей, плодящихся на просторах нашего запретократического государства в геометрической прогрессии. А уж они-то свои буйные фантазии точно обуздывать не приучены.

Я вот легко представляю себе, что таковой “пропагандой” легко может стать, например, то, что когда-то называлось половым воспитанием подрастающего поколения, а любой человек, по большому секрету сообщивший этому самому подрастающему поколению, откуда оно, это поколение, взялось, может запросто оказаться правонарушителем.

Может быть, и правда не стоит рассказывать детям, откуда они берутся? Тем более что берутся они, как известно, из совершенно разных источников.

Обстоятельства рождения у всех, конечно же, разные. Кого-то, как всем известно, приносят аисты. Кого-то находят между листками капусты, поближе к кочерыжке. Кому-то покупают братиков и сестричек в специализированных магазинах. Одна барышня, историческая достоверность которой до сих пор оспаривается неисправимыми скептиками, возникла буквально из соленой морской пены. Бывает даже и так, что кого-то извлекают из маминого животика. Всякое бывает. И это все более или менее счастливые случаи.

Но как же сокрушительно много тех, кто самозародился под половой тряпкой, валяющейся в углу казарменного сортира. Или между прутьями решетки канализационного люка. Или в куче обслюнявленной семечной шелухи на крыльце окраинного барака.

Как же они узнаваемы по голосам и выражениям лиц! Как же они хорошо заметны! Особенно тогда, когда они неудержимо тянутся вверх, как тянутся вверх худосочные, но долговязые помоечные цветы.

Это я, конечно же, не про наших уважаемых, всенародно избранных депутатов. Впрочем, такое и в голову никому прийти не может. Не правда ли?

В один прекрасный день

Когда-то очерки очеркистов начинались так: “Ничто не предвещало беды. Светило по-весеннему яркое солнце, принялись за влажную уборку родного города поливальные машины, хозяйки с кошелками и корзинками с утра пораньше отправились за покупками, потешные в своей важности малыши спешили в школу...” Ну и так далее вплоть до слов “и тут произошло страшное”. Такими надежно клишированными художественными средствами описывалось обычно все то, что гораздо позже получит нерусское название “саспенс”.

Но дело-то в том, что все это бывает на самом деле.

Ты выходишь из дому, почему-то уверенный, что сегодня все будет хорошо. И уже хорошо. Вот в лифте с тобой приветливо здоровается мрачноватая тетка, про которую ты привык думать, что она тебя неизвестно за что не любит и поэтому смотрит волком. Мало ли что, думаешь ты, может быть, человек болен чем-нибудь, а так ведь нормальный же человек. Надо, думаешь, просто стараться всех понимать и уметь ставить себя на их место.

Сегодня с утра ты всех понимаешь.

Вот две женщины в черных платках и с букетиками в руках спрашивают, как пройти в больницу номер такой-то. Ты понимаешь, куда и зачем они идут. Ты всем своим видом демонстрируешь деликатное понимание. Ты объясняешь, что это прямо тут, за углом. Вот ты проходишь мимо троллейбусной остановки, где на скамеечке сидит томный гражданин и пьет что-то из чего-то обернутого в газету. Вы встречаетесь глазами. Ты опять же выражаешь понимание и даже одобрение с помощью большого пальца правой руки. Утоляющий жажду улыбается и кивает тебе в ответ. Вот проезжающая мимо машина замедляет ход, чтобы не обрызгать тебя водой. Вот два небритых южанина (заметьте, именно “южанина”, а не “кавказца”) с какой-то мятой бумажкой в руках спрашивают у добродушного милиционера, как им попасть на такую-то улицу. А он, вместо того чтобы прямо тут же проверить у них документы, подробно объясняет и даже рисует чего-то на бумажке, да еще и улыбается при этом.

Что за день? Что за город? Не город, не день, а какая-то сплошная реклама сока “Добрый”. Но ведь так бывает. Действительно бывает – это все знают.

Ты легок и расслаблен, и ты с готовностью впадаешь в благодушную маниловщину. Что-то все-таки меняется в нашей жизни, думаешь ты. Да, медленно и не без уродств, но меняется. Цивилизованность, обобщаешь ты, несмотря ни на какие родовые хвори нашей ухабистой истории, все равно рано или поздно... и так далее.

В общем, ничто не предвещает беды, и беды – скажем, забегая вперед, – так и не случается, хотя она и пытается, гадина, добраться до тебя.

Ты, уже расслабленный и расставшийся на время с присущей тебе смутной тревожностью, подходишь к табачному киоску купить сигарет. Ты стоишь и умиротворенно ждешь, покуда милая продавщица отсчитывает тебе сдачу. Да, я тороплюсь, да, она считает мучительно медленно. Но у нее, видимо, зрение плохое. Она, видимо, новенькая. Потерплю, ничего страшного. Не раздражаться. Понимать. Всех надо понимать.

Но тут из хтонических глубин возникает та самая “беда”, которую “не предвещало ничто”. Она возникает в облике очень мрачного и неопрятного мужчины. Ему тоже нужны сигареты. Он отодвигает тебя рукой и обдает тебя невыразимым духом вчерашних радостей. “Нельзя ли полегче все-таки?” – говоришь ты все еще добродушно. “А х...ли ты тут встал?” – отвечает ожесточенный непохмеленностью мужчина. “Встал, потому что надо”, – начинаешь заводиться и ты, понимая уже, что привычная жизнь все же сильнее и правдивее, чем непривычная. “Ты ведь еврей?” – не столько спрашивает, сколько констатирует твой незванный оппонент.

“Все, – тоскливо думаешь ты, – начинается тема, развитие которой чревато неизбежными хватаниями за грудки”. Ты с самого детства не привык спускать такие штуки. Ты вспоминаешь все. Нет, погромов и Освенцимов в твоей жизни, слава богу, не было. Но был московский двор середины пятидесятих. Был Витька Леонов, смертельный твой враг, говоривший тебе при встрече: “Абг’ам любит куг’очку”. Ты, не думая ни о чем, бросался на него и тут же оказывался на земле, потому что гад был вдвое больше тебя. И была школа № 11. И был завуч Иван Тихонович, который делал вид, что никак не может запомнить твоей фамилии, и потому называл тебя, к бурному восторгу класса, то Гуревичем, то Рабиновичем. И была девочка Таня, которая спрашивала тебя, почему твою бабушку зовут таким глупым именем – Берта. И была смутно запомнившаяся зима 1953 года. И была на нашей улице маленькая аптека, где много лет проработала маленькая тихая женщина в круглых очках – Софья Соломоновна. Ее все знали. В те дни она стала средоточием смертельной ненависти, охватившей всю округу, весь город, всю страну. “Куда смотрит начальство, – волновались тетки в очереди, – почему ее не уберут отсюда? Они же нас всех тут угробят на хер”. И прошло много лет, пока ты не научился без внутренних судорог произносить постыдное слово применительно к себе самому – первое лицо единственного числа давалось долго и мучительно.

“Да, я еврей”, – говоришь ты, размышляя при этом, куда бы девать очки.

Но тема делает абсолютно непредсказуемый поворот. “Да какой же ты еврей? – говорит ни с того ни с сего твой новый знакомый. – Евреи умные. А ты дурак”. Преодоление жанровой инерции кажется столь радикальным, что вместо того, чтобы на законных основаниях обидеться на “дурака”, ты начинаешь смеяться. Смешно ведь, и правда. Просто надо всех понять. День удался.

Булгакова(-о) знаешь?

Да, понимаю, заголовок довольно странный. Но потом все разъяснится, обещаю, – чуточку терпения. А для начала вот что. Неизбывный наш литературоцентризм, вступая в непосредственное соприкосновение с грубой реальностью, преподносит нам иногда... Нет, не то. Об этом наговорено столько уже всего, что лучше будет как-нибудь по-другому.

Так, например. В детстве я очень любил географию. Точнее сказать, географическую карту, висевшую над моим письменным столом. Пялиться на пеструю карту мне было как-то веселее и увлекательнее, чем на постылые и совершенно закрытые для восприятия страницы учебника по физике под редакцией Перышкина и Крауклиса. (Вот память! Хотя не могу исключить, что Перышкин и Крауклис – это как раз какая-нибудь стереометрия, хрен редьки не слаще. Нет, стереометрия – это все-таки Стратилатов, точно помню. Так что все правильно.)

Карту я знал очень хорошо: мог почти точно нарисовать большую жирную запятую Африканского континента или Скандинавский полуостров, похожий на спящего сенбернара в профиль. Я, хоть ночью разбуди, мог назвать столицу какого угодно государства. Знал я, например, и знаю до сих пор, что столицей Гондураса является город Тегусигальпа. Правильно? Я ничего не перепутал?

И я очень много читал. Учитывая мою уже упомянутую здесь душевную привязанность к географической карте, легко догадаться, что и читал я в основном про путешествия и открытия. Таким образом, литература и география дружественно и взаимовыгодно сосуществовали в моем пытливом подростковом сознании.

Бывают, впрочем, случаи, когда география и литература вступают друг с другом в странные окказиональные противоречия. Вот такой, например, случай.

Один из друзей моей юности, студент-филолог и начинающий поэт, как-то летним вечером в конце шестидесятых возвращался из довольно отдаленного дачного поселка, куда он только что проводил свою барышню. И вот сидит он на пустом перроне и ждет последнего поезда. А поезд все не идет и не идет. А чтобы время не тянулось столь мучительно, он бормочет про себя все, какие может вспомнить, стихи своего обожаемого в ту пору Блока. На перроне он был один. А над ним низко повисла несколько тревожная для городского человека первозданная ночь, слегка, впрочем, очеловеченная худосочным фонарем. И даже угадывались в глубине пристанционной площади очертания деревянной аптеки. Так что ничего, жить можно. Приятель мой, хотя и проводивший только что до дому свою нежную подругу, будучи юношей ветреным, не стал бы иметь ничего против появления на перроне какой-нибудь незнакомки, способной тем или иным образом скрасить нудное ожидание.

Незнакомка не появилась. Появился, напротив, незнакомец, вызвавший в душе нашего героя стыдноватую, но отчетливую тревогу, ибо его облик и специфическая пластика навели на моего субличного и очкастого друга некоторые малосимпатичные воспоминания из времен его дворового пресненского детства. Незнакомец подошел к моему другу, дыхнул на него чем-то значительно менее декадентским, чем какие-то там духи и туманы, и задал совершенно в этом пространственно-временном контексте неожиданный вопрос. Он спросил: “Булгакова знаешь?”

У юноши, что называется, отлегло. Еще бы ему не знать Булгакова, которого он читал и перечитывал сто раз подряд! Вот, кстати, совпадение: два заветных номера журнала “Москва” с “Мастером и Маргаритой” вот прямо сейчас лежат в его сумке. Все складывается просто отлично. И чего это он, дурачок, испугался. Булгаков и его счастливая проза сделают человека из любого, даже из этого брутального на вид субъекта. Литература спасет этот грубый мир – мир агрессии и утробных страхов. Друг мой уже изготовился преподнести незна-

концу какую-нибудь из особенно блистательных цитат, в ответ на которую он рассчитывал получить другую, не менее искрометную. Так, глядишь, не заметим, как время до поезда пролетит. А ведь еще и в поезде можно продолжить. Эх, красота!

Но на всякий случай, исключительно из соображений интеллектуальной корректности, он все же счел нужным уточнить: “Какого Булгакова? Писателя?” “Хуятеля! – уже и вовсе неожиданно, хотя и в рифму, ответил незнакомец. – Деревню, говорю, Булгаково знаешь? Здесь где-то должна быть. Мне туда надо, понял? А в какую сторону, не знаю, понял? А ты знаешь Булгаково? Деревня. Здесь где-то”. “Нет, – ответил поэт печально, – не знаю. Я здесь первый раз”. “А хули ты тогда расселся тут?” – в полном несоответствии с нормами светских приличий, да и просто с элементарной логикой спросил раздосадованный незнакомец. Проявления его досады могли бы быть и более предметными, но ограничились, к счастью, вербальным уровнем. Он лишь презрительно махнул рукой и ушел куда-то в ночь, слегка посверкивая во тьме своими условно белыми штанами.

А дальше что? А дальше ничего. Пришла электричка, мой приятель сел в нее и поехал в Москву. А по дороге он мысленно оттачивал свое литературное мастерство, которое, он знал, непременно пригодится ему, когда он будет рассказывать своим друзьям и знакомым об этом удивительном литературно-географическом эпизоде. Время от времени у него не получалось удержаться от радостного хохота, чем он приводил в легкообъяснимое смятение сидевшую рядом с ним пожилую огородницу с огромным букетом георгинов в натруженных руках.

О национальной гордости великороссов

Что делать с самоидентификацией, непонятно. Лучше всего ничего не делать. В принципе нормальный человек ничего и не делает, а просто живет в свойственной ему повседневности. В той повседневности, которая не задает ему неожиданных, как ночной визит участкового, вопросов. Вопросов типа: “А какой вы будете национальности?” Интересный вопрос.

Особенно интересным этот вопрос казался мне в детстве. А если я добавлю, что самая нежная пора моего детства пришлась на первую половину 1950-х годов, то читатель, хоть как-то знающий отечественную историю, поймет, что я имею в виду. Однажды – мне было лет пять – я прибежал домой в слезах. Я прибежал жаловаться маме. “Витька, – сказал я, рыдая, – обозвал меня на букву “е”. Мама насторожилась. “А как именно?” – спросила она. Она, впрочем, уже, судя по всему, знала ответ. “Не могу сказать. Ужасно неприлично”. – “Ну ничего, скажи, не бойся”. – “Он. Сказал. Что я. Еврей”. Мама почему-то ничего не ответила, а только вздохнула и переглянулась с бабушкой. Бабушка сказала что-то на языке, которого я не понимал. Меня не очень смущало, что я не понимаю бабушкиного языка: я твердо знал тогда, что существует специальный язык, свойственный именно старым людям.

Вскоре я узнал, что я нерусский. Но этого мало. Я узнал, что я как раз тот самый еврей и есть. Это меня потрясло и, надо признаться, потрясает до сих пор. Все мое детство прошло в непрерывных драках по “национальному вопросу”, и до сих пор мои глаза застит непонятно что, когда я услышу где-нибудь что-нибудь такое, из детства. Тогда я готов на самые дикие поступки.

Впрочем, течение жизни постепенно приучило меня ко многому и многому научило. Научило пониманию нации как категории не столько этнической, сколько гражданской. Приучило к тому, что глупо и неправильно соотносить те или иные события жизни, свойства характера, успехи и поражения с происхождением, фамилией и типом физиономии.

Что мы имеем в остатке? В остатке мы имеем странный, горьковатый, заведомо непонятный иностранцу комизм некоторых жизненных ситуаций, положений и высказываний, особого комизма вроде бы не предполагающих. Вот, скажем, пару лет тому назад ко мне подошел на улице средних лет человек с характерным дрожанием всех видимых и, по-видимому, невидимых частей тела. Он попросил рублей семь. Он честно сказал для чего. Он их получил. И он, растроганный, сказал мне: “Спасибо вам большое. Вы – гордость русского народа”. Смешно. Но что смешно в большей степени, “гордость” или “русского народа”, – вот ведь вопрос. Гордость – это ладно, бог с ней, с гордостью. Но ведь действительно – какого все-таки народа я являюсь если уж не гордостью, то хотя бы представителем? Опять же вопрос. И этот вопрос, боюсь, так и придется унести с собой.

А почему я вдруг обо всем этом вспомнил в очередной раз? Да, в общем-то, суший пустяк. Просто в интернете я наткнулся на забавное сообщение о том, что “житель Южной Африки Филипп Рабинович установил новый мировой рекорд в беге на сто метров для людей, достигших столетнего возраста”. Тоже вроде бы гордость, хотя в этот раз уже южно-африканского народа. И ведь настоящая гордость, мне не чета.

Ты кто?

В начале семидесятых в моей тогдашней компании была популярна такая штука – тест не тест, игра не игра. В общем, одному и тому же человеку (новому в компании) трижды задавался один и тот же вопрос: “Ты кто?” Отвечали, понятно, кто как. Кто-то, допустим, первым делом называл свое имя, вторым – профессию, третьим – половую принадлежность. Кто-то – что-то еще. Я вот, помню, три раза подряд назвал свои имя и фамилию, за что был – видимо, справедливо – заподозрен в сугубом эгоцентризме. А также мне запомнился молодой человек, который на вопрос “ты кто?” трижды без запинки ответил: “Армянин”. Меня это, признаться, поразило. Это уже позже я стал замечать все большее и большее число людей, для которых их этническая принадлежность является главным, если не единственным пунктом самоидентификации. То есть не только знаменитым “пятым пунктом”, как это сложилось в сознании всех советских граждан, а первым, вторым, пятым, седьмым и семнадцатым.

На форумах интернет-изданий днем и ночью пасется особая, не слишком многочисленная, но отличающаяся особой крикливостью порода участников, крайне озабоченных национальным вопросом. Одни кричат: “Что же ты, еврей, тут делаешь, если тебе все тут не нравится!” Ехай, типа, в свой Израиль. Другие увещевают: “Ну вот видите, в какой стране и среди каких людей вы живете. Как вы можете здесь жить?” То есть говорят они, в сущности, одно и то же и более или менее на одном языке. А однажды я прочитал такое: “Статья ваша весьма интересна. Но кажется немного странным ваше упорное нежелание касаться еврейской темы”. Что тут можно ответить? Ответить вопросом на вопрос и спросить, а на каком, собственно, основании я должен касаться именно этой темы? Отчего бы попутно не поинтересоваться, почему я не пишу о ценах на нефть или о военной реформе? Неужели всего лишь потому, что моя фамилия такая, какая есть, а не другая? Странно, ей-богу. Да и неправда – касаюсь я этой темы, вот теперь, например. Но писавший этот комментарий имел в виду явно другое. Он имел в виду, что человек того или иного происхождения не может и не должен писать, говорить, думать ни о чем ином, кроме как о специфических проблемах своего рода-племени. Писал это, видимо, один из тех, кто на вопрос “кто ты?” трижды называет свою национальность.

А я кто такой? Ну то есть в этом самом смысле.

Нет, не стану я отвечать на этот вопрос. Во-первых, потому что я убежден: всякая этническая принадлежность, как, кстати, и религиозная, – сугубо интимное дело каждого индивида и гражданина. Публичная репрезентация своей этнической принадлежности является безусловным правом каждого, но не является его обязанностью. Точно так же, как женщина может красить губы, а может их и не красить – ее дело. А во-вторых, не стану я говорить об этом вот почему. С точки зрения национально озабоченных лиц любой окраски со мною и так все ясно, а для незабоченных этого вопроса не существует вовсе. Так что и отвечать-то особенно некому. Разве что самому себе.

Но если бы я вдруг и решил ответить, то ответил бы примерно так.

Весь опыт жизни в моей стране давно и прочно приучал и приучил меня к тому, что русским я не являюсь. А являюсь я, наоборот, нерусским, каковое обстоятельство никак невозможно объяснить европейцу, а американцу тем более. “Вот ты говоришь, что ты еврей. Это что значит? Что ты соблюдаешь субботу и ходишь в синагогу?” – “Нет. Не соблюдаю и не хожу”. – “А какой язык ты слышал с рождения? На каком языке говорили твои родители?” – “На русском, разумеется”. – “Ничего не понимаю”. Да, это непонятно. Но я не русский. И я это знаю твердо. И все дворовое детство прошло в беспрерывных драках по “национальному вопросу”.

Лучше, чем высказалась на эту тему блистательная Лидия Яковлевна Гинзбург, высказаться трудно. Вот что написала она однажды: “Чувство общественного приличия запрещает увиливать от своего происхождения. Нельзя находиться в положении человека, который говорит: “Я русский”, а завтра может стать объектом еврейского погрома”. Подписываюсь.

Это, так сказать, негативный опыт. Но зачем же им ограничиваться? А моя любимая бабушка, чьим родным языком был идиш? А бабушкин растрепанный молитвенник? А ее песенки и поговорки? А ее фаршированная рыба? А многочисленные пожилые родственники, по праздникам собиравшиеся в нашем доме и распевавшие за большим столом еврейские песни?

Но иногда я все-таки бываю и русским. Им я становлюсь, пересекая государственную границу моей родины. Лишь за границей я могу уверенно, без оглядок и многозначительных покашливаний, сказать, что да, я русский. А кто же еще? Китаец, что ли?

И есть еще такой аспект этнической идентичности, как стыд. Когда я слышу или читаю какую-нибудь гадость из уст того или иного трижды еврея про то, что “русский народ – это народ свиней и рабов”, мне бывает стыдно как еврею. Когда на стенах и заборах родного города я читаю что-то вроде “азеры, вон из Москвы” или даже внешне нейтральное “русская семья снимет квартиру”, мне стыдно как русскому и как москвичу. Я помню, как в Таллине, в компании эстонцев, кто-то из присутствовавших понес что-то довольно-таки гадкое про какие-то там свойства и черты, якобы свойственные русской нации. Я спросил его: “А почему ты говоришь это в моем присутствии?” – “Но ты же не русский”, – сказал он просто душно. “Нет уж, – сказал я. – В этом смысле я русский”.

Он извинился и сменил тему.

Не стану врать, что меня вовсе не волнует и не интересует эта самая тема. Почему же, интересует. Но интересует меня она в аспекте, скажем так, этнографо-фольклористическом. Разве не увлекательны и не поучительны семейные предания, анекдоты, поговорки, песенки? А уж кухня!

Кстати, о кухне. Мой знакомый режиссер, татарин, выросший в Ташкенте, говорил, что национальность в его представлении – это запахи из кухни, слышимые в раннем детстве. Можно и так.

Фольклор – это десакрализованный миф. Но беда в том, что для многих застрявших в стадии архаического родоплеменного сознания не фольклор, а именно миф лежит в основе всего. А где миф, там и причинно-следственные связи принципиально иные, чем те, что приняты в современном мире. Потому и сакраментальный вопрос “какого ты роду-племени?” является для них главным и последним вопросом, ответ на который позволяет без затей решить все прочие вопросы. Различны лишь ракурс и контекст. Ты умен и талантлив, потому что ты еврей. Ты великодушен и широк, потому что ты русский. Ты подл и расчетлив, потому что ты еврей. Ты злобен и туп, потому что ты русский. Такие словосочетания, как, например, “настоящий русский мужик”, в зависимости от контекста и интонации могут принимать не только различные, но и прямо противоположные значения.

Но всего этого я говорить не буду. Зачем? Об этом столько всего сказано и написано. Для кого-то, как для меня, например, это более или менее ясно и очевидно. Для кого-то говори, не говори – он все равно будет стоять на своем. Но если все же вопрос “ты кто?” будет звучать уж очень настойчиво, то я отвечу так же, как я однажды ответил: я трижды назову свои имя и фамилию. И пусть каждый вычитывает из этого ответа что его душевнее угодно.

При чем здесь чукча

“А нет ли каких-нибудь новых анекдотов из Союза?” – с чуть-чуть нерусским синтаксисом и с некоторым интонационным акцентом спросил меня мой друг, эмигрировавший в Америку в середине 1970-х годов. А разговор наш происходил в начале девяностых в городе Нью-Йорке, куда я попал впервые. Я рассказал ему какой-то первый же вспомнившийся мне анекдот про чукчу – кажется, про то, что чукча не читатель, а писатель. Поскольку приятель мой был как раз писатель, мне показалось, что ему это будет забавно. Но ему не было забавно.

Он печально сказал: “Да, как была Россия расистской страной, так и осталась”. Тут пришла очередь взгрустнуть и мне. Во что, подумал я, превратила веселого и насмешливого человека суровая и стерильная политкорректная реальность. “Ты, в общем-то, прав, – сказал я, – Россия действительно довольно-таки сильно заражена бытовым расизмом. Но вот только анекдоты про чукчу здесь совершенно ни при чем”.

Действительно, чукча здесь ни при чем, как, впрочем, ни при чем и разные прочие персонажи особого этнографически окрашенного фольклора, присущего всем постимперским народам. Недавно я побывал в Тбилиси, где рассказывал своим новым грузинским знакомым о том, что в советские годы в России существовал такой фольклорный, анекдотический “грузин” – богатый, щедрый, любящий пустить пыль в глаза, говоривший со смешным акцентом и к реальному грузину едва ли имевший особое отношение. Одним словом, “палто нэ надо”. “О да, – сказала одна дама, – я хорошо помню эти анекдоты. Эти ваши “грузины” носили кепки-аэродромы, какие обычно носят наши тбилисские евреи, и почему-то разговаривали с азербайджанским акцентом”.

Этот комический грузин тоже ни при чем.

И ни при чем медлительный, туповатый и основательный “эстонец”. И ни при чем “еврей”, “украинец” и все прочие.

Да что там Россия. Во Франции вот, например, рассказывают анекдоты про “бельгийцев”. Недавно в Париже мне рассказали такой, довольно, надо сказать, черноватый анекдот: “Вопрос: что такое “скелет в шкафу”? Ответ: это бельгийский мальчик, который играл в прятки. И выиграл”.

А это при чем? А это к чему имеет отношение? К шовинизму, к бельгиефобии? Чушь, разумеется. Ни к какому расизму, ни к какой ксенофобии и никаким прочим формам человеконенавистничества не может иметь никакого отношения все то, что остроумно и весело...

Я помню, как однажды, в конце 1990-х годов, я чуть не сорвал выпуск издания, в котором тогда работал. Я этого не хотел, это получилось случайно. Просто я пришел к коллегам из отдела политики, где горячо обсуждался какой-то материал про чеченские события, и сказал, что мне пришли в голову неплохие имена для трех полевых командиров: Ушат Помоев, Букет Левкоев и Рулон Обоев. Дня на три работа застопорилась. Из разных углов редакции раздавались спонтанные взрывы. Из одного угла слышалось: “Камаз Отходов” (взрыв). Из другого – “Рекорд Надоев” (опять взрыв). Из третьего – “Парад Уродов” (залп в сорок три орудия). Из четвертого – “Билет Догаваев” (девять баллов по шкале Рихтера). Потом эти чудесные имена-фамилии долго шлялись по интернету, лавинообразно обрастая все новыми образами стихийного имьятворчества.

Летом следующего года я поехал в Эстонию, где развлекался в том числе и тем, что от нечего делать придумывал эстонские фамилии, а также географические названия. Эта тема оказалась не менее заразной, чем чеченская. Жаль, поленился я записать свои вещие откровения, а потому многое забыл. Помню лишь промышленный город Вырву-Кохти. А также запомнилось мне как бы начало как бы главы из как бы учебника: “Эстонский совет-

ский писатель, лауреат Ленинской и Государственной премий, Герой Социалистического Труда Порно Сайт родился в 1919 году в рыболовецком поселке Трахну-Выдру в северной Эстонии, где и провел свои детские годы”.

Ну вот. А это что? Ксенофобия? Великодержавный шовинизм? Ответ на этот вопрос у меня есть: мои эстонские друзья, когда я делился с ними своими ономастическими изысканиями, очень радовались и просили еще. А другого ответа нет и быть не может.

Войны и геноциды затевают вовсе не те, кто придумывает и рассказывает смешной анекдот про соседа. И тем более не те, кто обладает счастливым умением смеяться над самими собой. Войны затевают те, кому чудится, что сосед собрался отравить его корову или положил глаз на его жену.

А чукча тут ни при чем.

Узнай о себе

“Дорогие москвичи и зарегистрированные гости столицы!” Такое радиообращение пришлось мне услышать недавно на какой-то из станций метро. Хорошее обращение, дидактическое. Что-то вроде “Граждане пассажиры, оплатившие проезд”. Или “Уважаемые депутаты, не берущие взятку”. Или “Господа предприниматели, не уклоняющиеся от налогов”. Ладно, фантазия заводит далеко, а каково все-таки быть “гостем столицы”, хотя бы даже и зарегистрированным, мне, москвичу, психологически мало понятно. Зато я знаю, что гости столицы имеют четкое представление обо мне как о москвиче.

О том, что такое быть москвичом, я раньше не особо задумывался, поскольку москвичом был всегда. Когда я был маленьким, голос из радио клялся в том, что друга он никогда забудет, если с ним подружился в Москве. Но мои-то друзья все жили в Москве, а в других городах жили родственники, которые забывать о себе не давали ни малейшего повода, ибо постоянно наезжали в Москву и останавливались у нас, в нашей единственной комнате.

Москвичи нечасто бывают патриотами. В отличие, скажем, от петербуржцев. Я только один раз слышал в Царском Селе, как молодой человек говорил своей спутнице: “Красиво, конечно. Но с нашей ВДНХ не сравнишь”.

У меня, во всяком случае, какой-то специальной гордости никогда не было. И даже наоборот – в детстве я испытывал зависть к тем, кто живет, например, у моря. А когда меня начали возить к морю, я не без смущения обнаружил, что и сам являюсь объектом зависти. Помню, в Крыму местный мальчик, мой сверстник, удивлялся: “Не понимаю, зачем москвичи сюда ездят. Скука одна. Море, подумаешь! А в Москве! Там Кремль, Красная площадь, Мавзолей”. Меня это настолько поразило, что я даже не решился ему сказать, что в Мавзолее ни разу не был. Да он бы и не поверил: а зачем же тогда жить в Москве, если не пропадать по целым дням в Мавзолее?

Пришло время, и я много чего узнал про себя и про свой город. Я узнал, например, о том, что москвичи пьют много чаю и говорят “коришневый” и “клубнишный”.

Я узнал о том, что быть москвичом – это вроде как в прежнее время было быть дворянином, то есть пользоваться всеми привилегиями не по заслугам, а по праву рождения. Я узнал, что Москва – это место, где обитает сплошное начальство. К москвичу и относятся как к начальству – как начальника его боятся, ненавидят, ублажают, стараются что-то скрыть от него, пустить пыль в глаза, высказать претензию. В том же Крыму, на пляже, ко мне подошел как-то молодой человек и спросил, не москвич ли я. Я подтвердил его догадку. Тогда он мне сказал: “Слушай, мужик! Как же нас тут зае...ли ваши съезды и пленумы!” Я ответил, что меня – еще больше. “А х...ли тогда?” – нелогично, но убежденно сказал он.

Я узнал, что Москва – это место содомского греха. Огромный страшный город, наполненный миазмами разврата, губящий своими соблазнами и бесчеловечным практицизмом чистые провинциальные души, – один из наиболее устойчивых мотивов так называемой деревенской прозы. Мифы мифами, но каждый миф время от времени иллюстрируется жизненными реалиями. Знакомый адвокат рассказывал, как ему пришлось защищать в суде деревенского парня, маляра, приехавшего на заработки в Москву. Дело было так. Жарким летним днем поднимается наш маляр в своей люльке вдоль стены какого-то дома. Люлька останавливается около балкона. А на балконе в шезлонге сидит и дремлет юная особа, на которой не надето буквально ничего. Бог знает что совершилось в этот момент в бедной крестьянской голове, но только взял маляр здоровенную кисть, обмакнул ее в ведро с краской да и мазанул спящую красавицу прямо по причинному месту. Красавица в тот же миг проснулась, и началось. Шум, милиция, суд, “злостное хулиганство”. Адвокату как-то удалось свести дело к минимуму, напирая на молодость, трезвое поведение и хорошую трудовую характеристику

клиента, который никак не мог объяснить ни суду, ни следствию, ни себе самому, зачем он это сделал.

Москвы боятся. Но в нее рвутся. Причины самые разные – от практически обоснованных до абсолютно иррациональных. В Москву едут и для того, чтобы прославиться на весь мир, и для того, чтобы затеряться в ней навсегда. “В Москву, в Москву” устремлялись души чеховских героинь. Еще бы: в Москве общество, тонкие разговоры, кондитерская Филиппова, Художественный театр, “Три сестры”.

Москва – это место социальной реализации, причем настоящей, конвертируемой. Давайте очутимся вдруг в каком-нибудь маленьком русском городе. Зайдем от нечего делать в местный краеведческий музей. Деловитой рысцой проследовав вдоль обязательных бивня, прялки и сохи, мы остановимся у витрины “Знатные люди нашего района”. Вот вам, пожалуйста, архимандрит. Вот летчик-испытатель. Вот доярка-рекордистка, депутат, между прочим, облсовета. А вот и настоящая находка: портрет средних лет мужчины в костюме, при галстуке, в очках. И подпись: “Плотников Валерий Геннадиевич. Уроженец нашего города. Старший научный сотрудник одного из научных учреждений г. Москвы”. Вот ведь повезло парню! Попал-таки в г. Москву, в одно из учреждений. А ведь мог бы так и проходить всю жизнь “гостем столицы”. И хорошо еще, если зарегистрированным.

Мрачные бесы

В наши дни, как известно, всех, кто попадает под руку, ловят, куда-то там увозят и разбирают на отдельные органы, чтобы органы эти продать американцам. Никак у них ничего не ладится там без наших российских органов. Да-да! И не надо спорить. Газеты надо читать. Там все написано.

А раньше, в 1980-е, всех нас насквозь просвечивали лучами и зомбировали, зомбировали. Вот так мы, зомбированные, и ходим, ни о чем таком даже и не подозревая. Ну, это, впрочем, кто как. Некоторые, наиболее прозорливые, не подозревают даже, а знают твердо. Да и газеты опять же... Кстати о газетах. Знакомый литератор “в рассуждении, чего бы покушать” устроился однажды в уфологическую газету. Там, как он рассказывал, было довольно-таки непыльно. Когда печатать было нечего, он садился за компьютер и писал что-нибудь в таком роде: “Ранним воскресным утром отец и сын Патрикеевы из села Взмоздаевка, что в Бочкозатыченском районе Липецкой области, отправились по грибы. День стоял...” Ну, в общем, понятно, что очень скоро отец и сын увидели в небе необычное сияние со всеми вытекающими из него аномальными последствиями. Все бы ничего, если бы не два печальных обстоятельства. Первое заключалось в том, что в редакцию с утра до вечера трезвонили наблюдатели, а то и собеседники всевозможных “посланцев”. А второе – это то, что дама-редактор сама лично во все это дело верила, что крайне затрудняло нормальное протекание редакционного процесса.

А вот еще раньше, в пятидесятые-шестидесятые, в очередях незаметно шприцами кололи. Сзади подкрадутся, кольнут и исчезнут – ищи потом ветра в поле. Что впрыскивали? Да хрен его знает что. Но то, что кололи, – это точно. Сам не видел, врать не буду, но люди рассказывали. Да зачем же им врать? Ну хорошо. А в то, что непарного шелкопряда завезли к нам невесть откуда и подбросили на наши дачные участки во время фестиваля молодежи и студентов, вы что, тоже не верите? А колорадский жук как же тогда?

А еще раньше просторы родины кишмя кишели шпионами и диверсантами. Некоторых вылавливают до сих пор, и тогда в бедных головах присяжных заседателей во всем своем первозданном величии оживает старинный миф. А еще раньше водились люди с песьими головами и девы с рыбьими хвостами. А еще раньше...

В общем, так было всегда. И все это, начиная с безобидной боязни дурного глаза и кончая газовыми камерами, называется мракобесием. Все, что построено на отрицании причинно-следственных связей, все, что неспособно к диалогу и рефлексии, все, что апеллирует к “истине”, “духовности”, “величию”, “идеалу” и прочим категориям, насильственно вырванным из религиозного, философского, исторического и других присущих им контекстов, есть мракобесие. Подозрительные взгляды в сторону чужого и непонятного – это мракобесие. Иррациональная тоска по “великой державе” и вообще по всему “великому” – тоже мракобесие. Оно везде и всюду. Оно, вроде как Ленин, “в тебе и во мне”.

Что ему противопоставить? Технический прогресс? Но мракобесы, проклиная прогресс, охотно пользуются его плодами, особенно теми, которые обнаруживают способность стрелять или взрываться. Науку? Но некоторые из научных идей мутируют в идеологию, в универсальное руководство к действию, в фетиш. И тогда берегись. Не это ли имел в виду Ежи Лец, когда предостерегал: “Никому не рассказывайте своих снов. Вдруг к власти придут фрейдисты”? Моду? Для меня совершенно очевидно, что агрессивное неприятие такого динамизирующего фактора, как мода, есть безусловное мракобесие. Но штука в том, что бывает мода и на само мракобесие, и триумфальные шествия подобной моды мы время от времени наблюдаем.

Но есть и еще одно противоядие. Это, представьте себе, ирония. Ироническая дистанция, как ни пытайся упразднить ее директивными мерами или изгонять с помощью магических пассов, как ни обзывай ее “ядом, разъедающим наши традиционные ценности, устои и святыни”, – именно она пока что едва ли не единственное сколько-нибудь надежное средство против любой очередной утопии, против фундаменталистских и тоталитарных устремлений любого рода.

Несмотря на то что мракобесие делится на “научное”, “религиозное”, “политическое” и “бытовое”, мракобесы любых сортов и направлений легко сходятся. А еще они сходятся в тупой, звериной серьезности. Мракобесие и веселый, непредвзятый взгляд на мир несовместимы. Воспользуемся этим.

Будем как Мбуругу

В середине 1990-х годов был популярен такой анекдот. Запись в дневнике бизнесмена: “Перечитывал пейджер. Много думал”. Технический прогресс последних лет столь стремителен, что далеко не все уже помнят, что такое пейджер, но анекдот остался. Остался потому, что технические новинки уходят и приходят, а о чем подумать, всегда найдется.

Беглое ознакомление с форумами различных интернет-изданий тоже заставляет задуматься. Причем даже не об их содержании. Читаю я, читаю форумы и все думаю, что же мне это мучительно напоминает. Потом понимаю: напоминает мне это коммунальную кухню моего детства. И неважно, что в те времена не было таких слов, как “коммент” или “юзер”. Ничего, зато были другие слова, ничуть не хуже. Коммунальная кухня – это ведь тоже, в сущности, форум. Там тоже не было ни редактора, ни корректора, и даже особой цензуры там не было.

Почему, действительно, форум так привлекателен для людей с расшатанными нервами, с устойчиво негативным взглядом на мир и с явно недостаточным лексико-фразеологическим ресурсом? Почему любой разговор, начавшийся вполне чинно и поначалу пытающийся хоть что-то осмыслить в человеческих терминах и категориях, мгновенно преобразуется в склоку, в глоссологию, где все воюющие стороны распознаются лишь с помощью ключевых слов, какими они награждают друг друга? Несмотря на формальное идейно-политическое различие спорящих, разницы между ними, в общем-то, нет, даром что одни других величают, допустим, “кремлевско-чекистскими ублюдками”, а другие одних, к примеру, “либерастами” и “демшизовыми уродами”. А еще все они то и дело спрашивают друг у друга: “Сколько тебе заплатили за?..” А еще хорошо заметно откровенное частотное зашкаливание такого нежного слова, как “быдло”. Что им всем далось это “быдло”?

Разницы между ними нет. И нет ее главным образом потому, что говорят они на одном языке – языке зла. Этот язык, как и в коммунальной кухне или в очереди за мясным фаршем, легко побеждает все прочие языки, ибо он неуязвим для логики. Он уходит корнями в мифологическое сознание, дремучее, кромешное, гомогенное, нечленимое на иерархические уровни. Аргументами, причем убийственными, там служат дубовые манипуляции с именем и фамилией оппонента, с его этнической принадлежностью, с физическими недостатками его самого и его родственников. Язык зла хаотичен и нерелексивен. Зло никогда не бывает остроумным. А если бывает, то это уже не зло.

Не будем забывать, что чудище не только обло, огромно, озорно и стозевно, но еще – что, может быть, самое важное – оно “лайл”. Эти, которые лаются в форумах, вовсе не составляют большинство. Но они существенно заметнее, потому что их язык обладает способностью сводить любые дискуссионные усилия к нулю.

Язык зла следует знать, чтобы уметь нейтрализовать его с помощью языка же. Но другого. Среди прочих существует такой универсальный механизм выяснения отношений с реальностью, как искусство. Именно оно, распознавая, осваивая и даже, если угодно, присваивая язык зла, лишает зло своего языка, делает его беззащитным, беспомощным, мертвым. Это умел, например, Зощенко.

Но нельзя победить зло на его поле. Нельзя пытаться говорить с ним на его же языке, пусть даже и громко. Не получится. Оно все равно тебя переорет. Победить зло (в самом себе хотя бы – а это уже дорогого стоит) можно только при том условии, если его вообще лишить дара речи, вырвать грешный его язык.

Некоторое время назад из какой-то новостной ленты я вычитал удивительное сообщение. История, там описанная, настолько поразила меня богатством и прозрачностью биб-

лейски-эпических аллюзий, что я решил сохранить ее – вдруг пригодится. Пригодилась. Вот она. Приведу ее полностью, она того заслуживает:

73-летний крестьянин Даниэль Мбуругу возделывал картошку и бобы в сельском районе недалеко от горы Кения, когда неожиданно из травы выскочил леопард и прыгнул на него. У Мбуругу был в руке мачете, но он бросил его и запустил руку в пасть леопарду. Ему постепенно удалось вырвать язык хищника, и зверь остался умирать в агонии.

“Он испустил леденящий кровь рык, от которого замолкли птицы”, – поведал дедушка.

По его словам, леопард вцепился зубами в запястье и стал терзать его когтями. “Но голос, который, казалось, исходил от Бога, прошептал мне, чтобы я бросил мачете и сунул руку в его широко раскрытую пасть. И я послушался.

Послушаемся и мы.

Дункаль

Мне только что исполнилось шесть лет, когда однажды я услышал по радио душераздирающую музыку и скорбный голос Левитана. Потом я увидел плачущих маму, бабушку, соседа. Позже мама объясняла, что плакали они не столько от горя, сколько от ужаса. Что будет со страной, что будет с нами? Оторвалась та пуговица, на которую застегивались человеческие судьбы, судьбы страны, судьбы мира. Теперь начнется террор, теперь начнется война. Начнется хаос.

А до этого было счастье. Всеобщее напряженное, истерически взвинченное счастье при полном отсутствии покоя и воли. Великая формула Пушкина работала тогда в обратном порядке.

Счастье это было такого накала, что его острые осколки успели окорять – к счастью, неглубоко – и мою нежную кожу. Когда я просыпался под звучащие из радио стихи о том, что “каждый день и каждый час Сталин думает о нас”, я был безмерно счастлив. Я был счастлив: моя судьба сложилась так, что я родился в самой великой и самой справедливой стране на свете, а ведь мог бы родиться и жить в какой-нибудь кошмарной Америке, сплошь покрытой хижинами дяди Тома.

Для поколения моих родителей пик счастья пришелся на середину – конец тридцатых. Мама много лет спустя рассказывала мне про это самое счастье. Еще бы не счастье, говорила она: кинофильм “Волга-Волга”, Чкалов, Лебедев-Кумач, “Дети капитана Гранта”, мороженое, фонтан “Дружба народов”, сама дружба народов. Они молоды и влюблены. Они живут в тесноте, но не в обиде. Они танцуют фокстрот и танго “Брызги шампанского”. Они ходят в Художественный театр. Они гуляют по новым гранитным набережным Москвы-реки. А главное, разумеется, это то, что “мы все все еще живы и все еще на свободе”. Моей семье действительно несказанно повезло: никто не сел и все вернулись с войны.

Известный филолог и писатель Александр Жолковский в одной из своих мемуарных “Виньеток” рассказывает, как в 1960-е годы он изучал язык сомали. Языком он занимался с сомалийскими студентами, больше тогда было не с кем. Одного из них звали Махмут Дункаль. “Наши занятия начались с того, – пишет Жолковский, – что он объяснил мне, что его имя, Дункаль, значит “ядовитое дерево”, а также “герой”. Я сказал, что не вижу этимологической связи. “Ну как же, – пояснил Дункаль, – убивает много”.

Впрочем, это про язык сомали, который, разумеется, к нам никакого отношения не имеет. А к нам имеет отношение тот непреложный факт, что Сталина любят до сих пор. Любят упорно и страстно. Любят сладостно и угрюмо. Яростно и нежно. Любят не сердцем или, не дай бог, мозгами, а чем-то куда более надежным – переломанным хребтом, отбитой селезенкой и поротой задницей. Такая любовь крепче.

Нашим нынешним, которые ценят в Сталине “успешного менеджера”, вовсе незачем ни ребра крушить, ни почки отбивать. Ну разве что дать время от времени подразмяться затекшему ОМОНу. А так – зачем? Все и без того пуганые-перепуганные. Подсадить публику на иглу византийско-сырьевого величия, закодировать ее смертельным страхом “оранжевой чумы” – и публика твоя.

Публика твоя: успешный менеджер Дункаль еще давно проделал за них всю грязную и великую работу, с помощью лубянско-мичуринско-лысенковских селекционеров выведя превосходную породу единогласно голосующих верноподданных. Они недорого обходятся и очень практичны в эксплуатации, они прекрасно размножаются в неволе, их всегда много, они всегда под рукой, и они никогда не подведут.

Теперь говорить за Сталина или *против* него уже поздно. Этот спор имел какой-то смысл в шестидесятые, когда многие факты отечественной истории лишь приоткрывались

для обозрения и осознания. Теперь, когда все все знают, этот разговор не имеет ровно никакого смысла. Для одних Сталин навсегда будет “рябым чертом”, вылезшим на белый свет прямо из преисподней. Для других он останется уж если не “величайшим гением всех времен и народов”, то как минимум “успешным менеджером”, построившим в отдельно взятой одной шестой хорошо охраняемый ГУЛАГ, идейно обеспеченный радостными кинокомедиями и лучезарными речевками, выполненными советскими поэтами и положенными на счастливую – без дураков – музыку не менее советских композиторов. И этих, вторых, не исправит ничто – ни могила, ни мобила, ни интернет, ни загранпаспорт, ни “Архипелаг ГУЛАГ”, ни “Колымские рассказы”, ничего. Потому что Сталин – герой. В самом буквальном, сомалийском смысле этого слова.

Да и вообще, давно уже речь идет ни о каком не о Сталине, а всего лишь о “Сталине” – стилизованном герое телесериалов и товарной марке. Или о пыльном портрете дядьки с ржавыми усами, который время от времени в соответствии с той или иной политконъюнктурой разное начальство вынимает из заглашника, чтобы подбодрить одних и шугануть других.

А человеческая тварь по имени Сталин закончила свои земные дни пятьдесят пять лет назад. Его скромная могила находится в самом центре великой столицы великой страны. Желаящий легко ее найдет – далеко ходить не надо.

Тяжелые соты и нежные сети

Как же мы жили-то без них, без этих маленьких штучек, поминутно дребезжащих у нас в карманах? Как дошли мы до такой жизни, когда человек, вышедший из дома без этой штучки, ощущает себя не лучше, чем человек, забывший вставить зубной протез или, пуще того, надеть штаны?

Как мы жили без них? Как же мы договаривались, встречались, находили и находились сами? До них органы наших чувств были напряжены и обострены, как у первобытного человека, привыкшего извлекать судьбоносную информацию из цвета листвы, треска сухих веток и запаха лосиного помета. До их прихода мы определяли время суток по солнцу и звездам, узнавали о приближении поезда, прикладывая ухо к земле, и пристально вглядывались в небесную высь в ожидании самолета.

Оснастившись ими, нашими маленькими друзьями-врагами и слугами-поработителями, мы многое обрели, но многое и потеряли. Потеряли память, потеряли ориентацию во времени пространстве. “Мы на когда договорились? На семь или на восемь?” – кричит один. “У первого вагона или у последнего?” – надывается другой. Или такая вот довольно распространенная мизансцена.

Владимир *(в телефон, истерично)*. Марин, ну где ты, в конце-то концов?

Марина *(в телефон, громко)*. Володь! Да здесь я! Че ты орешь-то! *(Хлопает Владимира по плечу. Оба хохочут каждый в свой телефон.)*

Обретя его, мы потеряли стыд. И это возникло не тогда, когда мобильный телефон стал чем-то вроде зубной щетки, а гораздо раньше. Это уже было в те теперь уже баснословные времена, когда встретить человека с мобильным телефоном на улице или в электричке было не только непривычно, но даже как-то и неуместно. Это выглядело бы как грубое нарушение чистоты стиля.

Именно в один из дней той удивительной эпохи я ехал в маршрутном такси. Я запомнил эту поездку, потому что на внутренней стороне дверцы была прилеплена бумажка со стихами. Стихи были чудесные, иначе я бы их не запомнил. Вот он, этот непревзойденный образец сугубо прикладной лирики с изысканнейшей сквозной рифмовкой:

Сначала кнопку найдите,
Затем на нее надавите,
Вперед и вправо потяните
И дверь отворите.

Речь, впрочем, не о стихах, как бы хороши они ни были. Речь о другом. Напротив меня сидел кашемировый “браток” и разговаривал как бы сам с собой, а если приглядеться, то говорил он в маленькую трубку, утонувшую в его боксерском кулаке. “Серег, – говорил он, – я тут еду в лоховозке. В лоховозке, говорю, еду. Тачка у меня, блядь, полетела, что-то там с клапанами. Скоро буду, короче. Без меня не начинайте, понял? Ну, добро”. “Лохи” никак не реагировали. То ли не поняли, то ли смиренно соглашались со своим лошеским статусом.

Когда до тебя доносятся разные телефонные обрывки, ты вынужден сделать печальный вывод о том, что все кругом беспрерывно врут.

“Да я уже буквально подъезжаю”, – на голубом глазу говорит некто, спокойно сидящий за соседним столиком и неторопливо изучающий меню.

“Слушай, я в страшной пробке стою”, – жалуется некто, покупающий сигареты в киоске. “Лежу с высокой температурой”, – констатирует некто, застуканный звуками Пятой симфонии Бетховена перед дверьми винного магазина. “Денег буквально ни копейки”, – оправдывается некто, засовывающий карточку в банкомат.

Нет, врут не все. Бывают честные. Но бывает честность такого свойства, что уж лучше бы врал. Вот заходит как-то мой приятель в аэропортовский туалет, а там из-за двери одной из кабинок слышит: “Зай, я сейчас покакаю и сразу перезвоню, ладно?”

Целую тебя!”

Но в основном врут. И разумеется, прилюдно. И не только врут. Обсуждают медицинские проблемы. Договариваются об абортках. Заказывают конкурентов. Ссорятся и мирятся. Разглашают семейные и государственные тайны. Перетирают темы и решают вопросы. Посылают кого-то в самые разнообразные места и, посылаемые, идут туда сами.

Подслушивать нехорошо, но не слушать нельзя. Тем более что кроме вещей понятных существует множество вещей непонятных, таинственных, бесконечно интригующих. Когда до тебя доносится что-то вроде того, что “нагадил, сука, прямо в унитаз”, ты не можешь не задаться законным вопросом, а куда эта сука гадит обычно. А когда ты слышишь о том, что “они, когда еще оба были живы, никогда друг к другу на могилы не ходили”, то и вопросы страшно задавать.

Прекрасны разговоры девушек. Они вдохновляют нас с какой-то особенной силой. Вот вы, допустим, услышали: “А эта такая вошла, как эта прям. И села, блин. И сидит, короче”. В общих чертах понятно и даже отчасти знакомо: “Она садится у окна”. Одна, блин. Буквально без спутников. Дыша, короче, духами и туманами. Но какой тут, на фиг, Блок со своей отстойной “Незнакомкой”, если прямо в нашем присутствии рождаются речевые конструкции, поражающие истинной безграничностью интерпретационного пространства. А метафора “как эта прям”, так та и вообще работает на пределе, а то и за пределами всех представимых и непредставимых выразительных возможностей.

Нельзя не слушать то, что орут тебе прямо в ухо. Ты для них не существуешь, вроде тех самых пассажиров из той самой маршрутки. В твоём присутствии можно все, как в античном мире в присутствии рабов можно было не только говорить обо всем, но и безо всякого стеснения отправлять телесные потребности или предаваться любовным утехам. Люди, разговаривающие по телефону, выдергивают сами себя, как барон Мюнхгаузен из болота, из коммуникативного пространства улицы, ресторана, офиса или городского транспорта, ощущая себя Робинзонами, перекрикивающимися с Пятницами через весь никем, кроме них, не обитаемый остров. Насколько же зыбка и мерцательна цивилизационная этикетная грань между интимным и публичным! Насколько же призрачна и условна эта граница! Как и все границы, впрочем.

Скорее всего

Есть такая старая английская шутка, как бы иллюстрирующая теорию вероятности: “Если в вашу дверь в девять часов утра кто-то позвонил, есть вероятность того, что вас неожиданно, без предварительной договоренности решила навестить ее величество королева. Такое, конечно же, возможно. Но *скорее всего*, это пришла молочница”.

Думаю, что мы все, кроме очень самоуверенных и очень неумных (что чаще всего совпадает), всегда убежденных в том, что они точно знают, как все *на самом деле*, в своих умозаключениях по поводу тех или иных явлений или событий истории и современной жизни исходим из этого принципа.

Мы все в большей или меньшей степени лишены стопроцентно достоверной информации, на основании которой мы могли бы делать абсолютно объективные выводы. Каждый исходя из той или иной аксиоматики знает, что бывает *скорее всего*.

Я, как и все, не знаю и не могу знать, как “на самом деле”. И я свято чту принцип презумпции невиновности. И я точно знаю, что любая истина кроме той, что открыта настоящему религиозному человеку, всегда относительна. Но я имею тот социальный, эстетический и экзистенциальный опыт проживания в советском и постсоветском космосе, какой я имею. И я имею ту социально-антропологическую интуицию, которую я имею и которая меня подводит не так уж часто.

Понятно, что любое “скорее всего” не может не опираться на аксиоматику, на набор базовых принципов, сформированных в свою очередь все тем же социальным опытом.

Для меня, например, давно и устойчиво неопровержимыми являются представления о том, что коммунистический СССР был и остается одним из двух самых бесчеловечных и крошечных режимов прошедшего века, отличающимся от немецкого нацизма не больше, чем чума отличается от черной оспы. Что человек важнее государства, роль которого в современном мире – это прежде всего роль защитника и гаранта свобод и личного достоинства граждан, и что государство, занятое исключительно своим величием и воспринимающее граждан как “вторую нефть”, – это говенное государство. Что всем известная карательная организация, постоянно, как это и положено матерому рецидивисту, меняющая кликухи, но не меняющая сути, есть самое подлое, самое лживое и самое бесчеловечное образование на теле моей страны. Что и советская, и нынешняя российская власть всегда врал и продолжает врать – даже в тех случаях, когда говорит о погоде.

Официальная пропаганда, надо сказать, весьма облегчает мне жизнь. Если и есть за что ее благодарить, то только за это. Для того чтобы хоть как-то понять, что же все-таки происходит, не надо тратить особых усилий на добывание и сопоставление фактов. Достаточно просто знать, что *эти* точно врут. Ну ладно, будем политкорректными: не точно – *скорее всего*.

Советский агитпроп тоже был построен на тотальном вранье. Но по тогдашним правилам игры предполагалось, что так называемый советский народ принимает “Правду” за правду. Это было более или менее достижимо при условии абсолютной информационной закрытости и наличия кое-какой пусть дикой, но все же идеологии.

Более того, были баснословные теперь уже времена, когда и сами врущие верили в то, что говорят. Когда же в это вранье перестали верить и те, кто слушал, и те, кто врал, незыблемое и единственно верное учение практически в одночасье накрылось тем, чем оно накрылось.

Сейчас вроде бы разливанное море информации. Сейчас все издано и даже кое-что прочитано. Сейчас люди ездят по свету и видят все своими глазами. Но привитая годами

советской власти привычка к тотальному вранью стала патологической потребностью, своего рода наркотической зависимостью.

Нынешние врут бесконечно, сладострастно и вдохновенно. Врут без всяких нудных идеологий и институтов марксизма-ленинизма. Безо всяких “Капиталов” и “трех составных частей”. Без материалов исторических пленумов и моральных кодексов строителей коммунизма.

Врут в условиях относительной информационной открытости. Врут и не стесняются. И в этом их, что называется, ноу-хау. Они знают, что они врут. И мы знаем, что они врут. И они знают, что мы знаем, что они врут.

– Да, мы врем, – дают понять они. – И будем врать. Потому что:

- а кто не врет, все врут – это политика, чтоб вы знали;
- мы только это и умеем делать, потому что в той конторе, откуда родом наш славный нацидлер и на чьем крючке мы все висим, как готовые к кулинарным приключениям кроличьи тушки, другому не учат;
- нашему вранью охотно рукоплещет “наш избиратель”. А вы, умники, сидите и не вякайте – и радуйтесь, что вообще на свободе, а если будете сильно пылить, то и закончик для вас сочиним про изменников и шпионов.

Мои аксиомы, повторяю, основаны на социальном опыте. И для меня они неопровержимы: не произошло пока ничего такого, что бы заставило меня радикально изменить свои базовые убеждения. И для меня это все ясно как день.

Для меня. И для тех, кто думает примерно так же. Много их или мало, совершенно неважно. Важно, что они есть.

Но существует и совсем иная аксиоматика. И никто никому ничего доказать не может, потому что любое доказательство держится на общих для всех аксиомах. А их нет. Потому и хоть скольконибудь конструктивный общественный диалог практически невозможен.

Для носителей иной аксиоматики, очевидно, например, что *скорее всего* Ходорковский вор, что Саакашвили приказал стрелять в российских миротворцев, что американцы засняли высадку астронавтов на Луну в голливудском павильоне, что Запад спит и видит, как бы извести Великую Россию, устраивая по ее периметру цветные революции, что либеральные идеи ведут страну в пропасть, что Путин со своей чекистской псарней – спасители России, что журналисты и правозащитники по заданию ЦРУ и с целью очернения и без того лучезарного образа России убивают сами себя, что движение “Наши” – наша славная смена, а Дима Билан – выдающийся артист мирового масштаба.

“Ну что ж, – скажу я исходя из собственной аксиоматики, – все это теоретически возможно. Но *скорее всего* “это пришла молочница”.

Диалог бессмыслен, но меня все равно бесконечно интригуют основания иной аксиоматики. Ведь мы же все отсюда. Ведь мы же учились в одних и тех же школах и дрались в одних и тех же дворах. Некоторые читали одни и те же книжки. Что это? Где эта роковая трещина, незарастающий шов?

Ведь дело даже не в том, что “на самом деле”. Интереснее другое.

Когда человек с пеной у рта утверждает, например, что преступлений сталинизма не было вовсе или их масштаб сильно преувеличен, даже и не так важно, на каких фактах или мифах построены его выводы. Важно и очень интересно другое: *почему* ему так хочется, чтобы дело обстояло именно так? Я говорю не о тех, для кого историко-патриотические манипуляции служат профессией. Это понятно – работа такая. Я говорю о бескорыстном и страстном нежелании признать чужие вроде бы грехи. Не говоря уже о том, чтобы вместе со всем цивилизованным человечеством их осудить. Какое там!

“Говоря о сталинском СССР, они метят в Россию – это же ежу понятно”. Ежу, может быть, и понятно. А мне вот совсем не понятно. Почему именно в Россию? А не, скажем, в Северную Корею, Иран или Кубу, где сохранились на сегодняшний день тоталитарные режимы? Мы же не тоталитарные вроде теперь? Или как?

Почему современным немцам не придет в голову, что осуждение преступлений гитлеризма ударяет по немецкому национальному самолюбию? Понятно почему. Потому что нынешняя Германия – это действительно *совсем* другая страна, где годы Третьего рейха практически единодушно воспринимаются как время национального позора.

Дело, разумеется, ни в какой не в исторической правде. И не в науке. А в социальной патологии.

Интересно, почему столь яростно, столь склочно и обидчиво российские власти в сопровождении хора местных патриотов реагируют на разговоры о Голодоморе, о пакте Молотова – Риббентропа, о Катыни, о выселении народов из Крыма и с Северного Кавказа. Ведь мы же вроде другая теперь страна, не правда ли? Или не совсем? Не Советский же мы теперь Союз? Или все-таки немножко советский? Почему так волнуются коммунисты из КПРФ – это понятно: они сознательные наследники КПСС. Но наши-то “юристы”? Они-то чего?

А вот чего. Получается так, что нынешняя Россия – это всего лишь переименованный и слегка ужатый СССР. Марксизм-ленинизм за ненадобностью убрали, плановое хозяйство похерили, насквозь проржавевший, весь в дырах железный занавес до поры до времени не опускают – самим невыгодно. Но главные, данные нам в наших непосредственных ощущениях рычаги власти, такие как армия, милиция, спецслужбы и прочие тамошни с санитарными врачами, остались именно советскими и никакими иными. Зря, что ли, они размахивают красными знаменами и величают друг друга “товарищами”? А еще дело в том, что, как давно известно, бывших чекистов не бывает. Скорее всего.

О том, чего не было

О том, чего не было

О 1950-х годах писать особенно нечего по той причине, что их не было. То есть они, разумеется, были, уже хотя бы потому, что это были годы моего детства. В 1950-е я пережил горячую любовь к вождю и острое чувство сиротства, когда его не стало. В 1950-е отменили раздельное школьное обучение и ввели школьную форму. Вот я и напялил ее, идя в первый класс в сентябре 1954 года. А в следующем году мой старший брат школу окончил. В 1950-е моего брата чуть не выгнали из комсомола за исполнение рок-н-ролла на институтском вечере. В 1950-е были фестиваль и целина. Умерли обе мои бабушки. Брату вырезали аппендицит. Отец бросил курить. На орбиту вылетел первый спутник, а вслед за ним в космическое пространство ринулась незабвенная мученица Лайка. В 1950-е были стилиаги, пластинки “на костях”, певцы Бунчиков и Нечаев. Был патефон. Были Лолита Торрес и Радж Капур. Был трофейный “Тарзан”. Были трофейные фильмы, трофейные вещи, трофейный, все еще откровенно прифронтовой быт. Были безногие инвалиды в электричках – они пели. Было “дело врачей”. В 1950-е сажали и расстреливали. В 1950-е выпускали и реабилитировали. Много чего было в эти годы.

Но этих годов не было, потому что десятилетие раскололось пополам, как весенняя льдина. Причем первая половина отдрейфовала назад в 1940-е. Взрослые донашивали военную форму. Дети донашивали то, что оставалось от взрослых. Чердаки и сараи ломались от противогазных сумок, планшеток и полевых биноклей. Это ведь и были детские игрушки. Милитаризованный воздух тех лет я не забыл до сих пор. Вторая же половина 1950-х ушла вперед, в 1960-е. Это было время прозрачного разреженного воздуха. Люди блаженно и глуповато заулыбались сами не зная чему. Отпустил многолетний страх, но многие еще этого не поняли. Эту льдину расколола надвое смерть Сталина. 1950-х не было, недаром слово “пятидесятники” ассоциируется скорее с религиозной сектой, чем с именем поколения.

Наше пространство и наше время характеризуются острым дефицитом визуальности. Принцип “Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать” неприменим к эпохе. Эпоха говорила заголовками газет и голосами радиодикторов. Висящие на стенах картинки из “Огонька”, портреты маршалов и артистов, почтовые марки и нехитрый вид из окна не утешали, а лишь усугубляли визуальный голод. Более того, они вводили в заблуждение, искажали пространство и время, делали и без того фрагментарный мир еще более дробным и невнятным. Визуальные объекты не в состоянии были составить образ эпохи. В лучшем случае они служили иллюстрациями. Из-за каждой картинки, из-за каждой фотографии доносятся песни советских композиторов или бархатный голос Левитана.

Первые телевизоры, пытавшиеся расширить визуальный мир за пределы квартиры и двора – дальше булочной, дальше почты, дальше пожарной команды, – тоже появились в 1950-е. Но это был тот еще мир. Не мир, а слабо шевелящаяся открытка. Недаром и экран тогда был размером с почтовую открытку.

Было и кино. Но кино не свидетельствовало. Это было “искусство”, жившее по своим законам. Там улыбочивые парни вели трактора в светлое будущее, а смешливые, с черно-белым румянцем во всю щеку дивчины слаженно пели “Ой, цветет калина”, трясясь на колхозном грузовике. Там воевали, созидали и сыпали крылатыми фразами великие полководцы и прочие деятели науки и искусства. От кино никто и не требовал жизнеподобия, поэтому обвинять его в неправде было бы кощунственным нарушением общественного договора.

Кино показывало другую жизнь, ту, которой нет и быть не может. Именно поэтому кино было столь прекрасным и столь желанным.

И были фотографии. Но разве можно полагать свидетельством эпохи снимок, сделанный в зоопарке моим двоюродным братом, которому только что подарили “Смену”? Там не видно ни клетки с павианом, ни меня – никого. И разве можно считать свидетельством эпохи фотки из “Огонька”, где все делятся лишь на тех, кто в фуражках, и тех, кто в шляпах?

Но были семейные фотоальбомы. Почти в каждом доме они были. Вот они, перед глазами, их не забудешь. Бархатные, коленкоровые – всякие. Вот, садитесь, пожалуйста, сюда – здесь удобно и не дует. Пока чайник закипит, посмотрите наш альбом, если интересно. Вот мои родители в Ялте. Какой год? Кажется, пятьдесят второй. Вот соседка Таня с котенком. А вот этого в тюбетейке, в сатиновых шароварах и линялой майке, не узнаете? Ну посмотрите же внимательно! Ну? Правильно, это я! Неужели сразу не догадались?

Инерция этого жанра столь сильна, что любой фотоальбом – в том числе и тот, что мы с вами держим в руках, – это альбом семейный. Поэтому кого бы мы ни увидели на этих снимках, все они – наши родственники, друзья, знакомые, знакомые знакомых, друзья друзей и родственники родственников. Все лица, включая лица официальные, поселились в нашем доме, в нашем альбоме. Листание домашнего фотоальбома – своего ли, чужого – это занятие неизменно медитативное и умиротворяющее. Вот и предадимся ему, этому занятию. Вперед.

О страхах

Все страшно. И в детстве, и потом. С возрастом страх не исчезает, а лишь опускается все глубже и глубже. Но в детстве страшно все: мама ушла за хлебом и все нет ее, нет. Страшно. Смотришь в окно, а за окном вдруг пройдет кто-то – не человек, не собака, не волк. Заглянет в окно и исчезнет, треща сухими зимними ветками. Не страшно разве? Не просто страшно – ужасно. А потом? В школе? А вдруг не решишь пример? А вдруг опишься на физкультуре? А в пионеры не примут? Точно примут? А если нет? А если клятву забуду? Как жить после этого? А если во дворе здоровый Витька Леонов обледенелой колючей варежкой по морде? Больно ведь. Обидно. Страшно.

Взрослые тоже чего-то боялись. Говорили шепотом за стеной. Или что-то говорили, забывшись, при мне. Тогда бабушка поднимала палец: “Штиль. Киндер”. Это на идишь, чтобы я не понял. Я понимал. Я понимал, что и им что-то страшно.

Но был и еще один страх, государственный. Для меня не очень страшный, а скорее непонятный. Этот страх звонил в дверь и отзывался женским голосом: “Госстрах”.

Это теперь много всякой рекламы. А в моем детстве рекламы было мало. То есть много, ибо большие жестяные листы были развешаны на всех кирпичных брендамауэрах родного города. Но рекламируемых объектов было очень мало. Томатный – почему-то – сок. Зубной порошок, изготовленный на фабрике “Свобода”. “Пользуйтесь услугами “Аэрофлота”. “Такси все улицы близки”. Я уже тогда обращал внимание на неправильную рифму и говорил: “Надо писать “бликси”, тогда будет складно”. Конечно же, сберкасса (“Накопил – машину купил”). Это накопительство рекламировалось также на последних обложках литературных журналов. Там были графически явлены вожаки за умеренность и бережливость: дом с колоннами и кипарисами (это курорт, “всесоюзная здравница”), автомобиль “Победа”, ковер, жирный рулон сукна (отрез, как тогда говорили) – одним словом, добро. То самое, каким заканчивались сказки: стали жить-поживать да добра наживать.

Ну и Госстрах.

Моя мама всегда от чего-то страховалась. Это тоже был способ накопить немножко – на костюм, на ковер, на холодильник. К нам в дом приходили страховые агенты. Это были, как правило, интеллигентные дамы. Они говорили “ну что вы, право” и вообще отличались старосветскими манерами.

Приходили, садились за круглый, накрытый красной плюшевой скатертью стол и начинали пугать на манер гоголевского Афанасия Ивановича, любившего подшутить над простодушной Пульхерией Ивановной: “А если бы и кухня сгорела?..

А если бы и кладовая сгорела?..”

Такого рода дамы попадались не только среди страховых агентов или библиотекарей в детских районных библиотеках. Их, бедолаг, заносило даже в магазины. Обычно в качестве кассиров. Но изредка и продавцов. Я помню одну такую – пожилую, в очках, продававшую яйца. “Что ж яйца, мамаш, такие мелкие?” – возмущался небезукоризненно трезвый рабочий из очереди. “А что же вы хотели бы? – невозмутимо парировала дама. – Чтобы яйца за девяносто копеек были исполинские?” Сраженный затейливым словом, позаимствованным то ли из Жюль Верна, то ли из Конан Дойля, мужик затыкался.

Мама подолгу беседовала с агентессами. Они не только пугали и всячески агитировали. Они рассказывали про свою жизнь и умело расспрашивали про чужую. Я привык прислушиваться к их разговорам. Это было интересно. Иногда даже слишком. Ибо, увы, не все были одинаково уравновешенными, подобно тому как много лет спустя не все йогурты оказались одинаково полезными. Одна, помню, с увлечением рассказывала о своей любви к животным. Я слушал, слушал и задремал. Сквозь сон я слышал: “У меня была птичка

в клетке и собака. Потом я собаку отдала родственникам”. – “А что такое?” – “А потому что собака стала дразнить птицу”. – “Как это?” – “А так. Она подходила к клетке и читала стихи”. – “Стихи?” – “Стихи. Целыми днями. Прямо так вот сядет перед клеткой и читает: “Сижу за решеткой в темнице сырой”. А птичке же обидно. Она ведь ответить не может. Я и отдала. Правда, потом птицу кошка съела”. – “Так кошки же у вас вроде не было”. – “Не было. Но пришлось завести. Мыши. Совершенно замучили. Наглые такие. Я, представляете себе, открываю буфет, где варенье, а она стоит”. – “Кто?” – “Ну мышь. Нахально так, руки в боки. Как хозяйка. И смотрит. Наглая такая. Ну вот я кошку и завела”. И так далее. Что было на самом деле, а что приснилось, уже не важно. Но я при слове “Госстрах” именно эту тетку себе и представляю, а больше ничего.

Чем-то, очевидно, надо все это закончить, а вот чем – непонятно. Так что пусть все останется как есть. Ничего страшного.

Сон Попова

Надо же, вспомнил! День радио! Впрочем, вру, не вспомнил, прочитал в интернете. А в детстве я эти даты – дни печати, артиллериста, шахтера, авиации, радио – не забывал никогда. Еще бы: на кухне же висел отрывной календарь, изученный мною со всей доскональностью, на какую я был способен.

В День радио страничка календаря была украшена портретом благообразного и бородатого старорежимного дядьки. Это был инженер Попов, изобретатель радио. Все остальное, по версии тех лет, кажется, изобрели Ползунов и Кулибин.

Чтобы понять роль радио в жизни человека, надо помнить себя пятилетнего в каком-нибудь 1953 году. Ты лежишь в очередной ангине. Глотать больно, а тонкую твою шею нещадно царапает пергаментная бумага от компресса. За окном бесконечный снег. Говорить тоже больно, да и не с кем. Мама пошла в аптеку за стрептоцидом, и ее все нет и нет. На этажерке, покрытой кружевной салфеткой, стоит, подмигивая изумрудным глазом, трофейный радиоприемник. В нем вся жизнь, в нем вся надежда, он один тебе утешитель. Ты слушаешь все – от гимна до гимна.

Утренняя гимнастика. Преподаватель Гордеев, пианист Родионов. “Ноги на ширине плеч! Колени повыше! Оч-чень хорошо! Раз! Два! Три! Раз! Два! Три! Переходите к водным процедурам”.

“Пионерская зорька”. Когда-то, уже в 1970-е годы, в одной компании меня познакомили с миловидной, но простенькой барышней. На вопрос о роде занятий она как-то небрежно бросила, что она “радиоактриса”. Это заинтриговало. Потом выяснилось, что радиоактриса она в том смысле, что, когда ей было лет семь, она записалась на радио в роли “Здравствуйте, ребята! В эфире “Пионерская зорька”!”

“Писатель у микрофона”. “Я получаю много писем от своих читателей. Прочту одно из них”.

Певцы. Бунчиков поет “Летят перелетные птицы”, а Нечаев – “Влюбленного бригадира” (“Говорить не умею речисто я. И поэтому мо-олча люблю-у-у”). Вдвоем поют шуточную: “Вот они идут, все трое – он, она и проливно-о-ой (*пауза*) дождик, дождик, дождик, дождик”.

Детская радиопостановка. “Айюга-га-а-га-ага-а”, – заклинает голос Бабановой. Мальчишек-сорванцов играет Зинаида Бокарева. Всех остальных – Николай Литвинов. Особенно папу Карло и Буратино одновременно.

Передовая статья и краткий обзор газеты “Правда”. Понятно только одно: как же мне все-таки повезло, что я родился в СССР. А мог ведь в какой-нибудь Америке. Ужас!

Разучивание песни. “А теперь прослушайте этот куплет в исполнении детского хора”.

Футбол. Вадим Синявский. Знакомая всей стране скороговорка: “Внимание, внимание! Наши микрофоны установлены... Нетто передает Симоняну, Симонян – обратно Нетто. Надо бить! Ай-яй-я-я-яй!”

“Угадайка, угадайка, интересная игра, та-тата-та, та-та-та-та (*не помню*), слушать радио пора”.

Произведения советских композиторов... В кругу музыкантов была такая шутка: “Мы передавали произведения советских композиторов. А теперь послушайте музыку”.

Так вот, одним мартовским днем, уже выздоравливая и потому пребывая в томном блаженстве, я услышал скорбный голос Левитана: “Дыхание Чейн-Стокса...”. Это была первая осознанная мною смерть. Умер тот, которого радио по сто раз в день называло моим отцом. Мой настоящий отец в тот день бросил курить. Хотя при чем тут это? Непонятно.

Чтобы понять роль радио в жизни человека, надо помнить себя, вращающего во все стороны рижскую “Спидолу” с погнутой антенной в тщетной попытке расслышать голос Анатолия Максимовича Гольдберга. “Глядя из Лондона”. Би-би-си. Советские танки в Праге. Ни черта не слышно.

Одна знакомая довольно большая семья ежевечерне и в полном составе слушала “Голос Америки” – это было родом ритуала. Среди слушавших был и очень старый дедушка. Он, хотя и был глуховат, вел себя тихо, никого ни о чем не переспрашивал, внимал всем этим шорохам и трескам почтительно и дисциплинированно. Лишь после всего, когда радио выключалось, он всякий раз горестно констатировал: “А погоду опять не сказали”. Особая, несколько мистическая роль погодных прогнозов – тема особая. Впрочем, об этом сказано и написано много всего.

Чтобы понять роль радио в жизни человека, надо поднапрячься и вообразить себе, что были баснословные времена, когда не было телевизоров, не говоря уж об интернете. А потому всенародные герои тех лет – дикторы, ведущие, спортивные комментаторы, певцы и исполнители ролей в радиоспектаклях – были таинственными невидимками, необычайно интригующими и будоражащими народное воображение.

Радио жило по обыкновению на кухне. Связь между кухней и радио была односторонней. Радио вещало, учило, пело и проповедовало. Кухня резала лук, пила чай, разговаривала, ругалась, мыла посуду. Иногда вслушивалась, поднимая указательный палец.

Теперь радио слушают в автомобилях.

Чтобы понять роль радио в жизни человека в наши дни, необходимо иметь хотя бы приблизительное представление о таком важном социокультурном феномене, как автомобильная пробка. Когда тебе приходится ловить машину, ты всякий раз тянешь лотерейный билет. Ты всякий раз задаешься вопросом, какие именно звуки будут сопровождать твое Великое стояние в Пробке. Станет ли эфир струить зефир, врачующий твое раздраженное нетерпение, или, что скорее всего, эфир будет струить безысходный “Шансон”, лишь умножающий во сколько-то раз твои дорожные муки.

Согласно известному афоризму, радио есть, а счастья нет. Это, разумеется, так. Но это и не так, если все-таки вспомнить себя пятилетнего в каком-нибудь 1953 году, медленно и блаженно выздоравливающего после очередной ангины под ангельские, обещающие непомерное счастье звуки: “Был поленом, стал мальчишкой, подружился с умной книжкой. Это очень хорошо, даже очень хорошо! Ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля!”

Игрушечный попугай

Большинству из нас свойственно с умилением пересказывать друг другу те или иные шедевры детского речетворчества. Это самое речетворчество, как и прочее детское творчество, во все времена рассматривалось в контексте существующего в данный исторический момент эстетического или общественного мейнстрима и оценивалось либо с точки зрения сходства с творчеством взрослых, либо наоборот. Концепции отношения менялись от “надо их учить” до “надо у них учиться”.

То, что дети говорят иногда удивительные вещи, никакая, мягко говоря, не новость. Что, впрочем, не мешает нам всякий раз заново поражаться и восхищаться. Больше всего потрясает их способность описывать взрослый мир – заочеченый и не замечаемый нами мир межличностных связей, социальных привычек и предрассудков, идеологических и эстетических кодов нашего повседневного поведения. Они как-то вдруг формулируют то, что должны были бы сформулировать мы сами, если бы умели. Такое бывает при соприкосновении с хорошим искусством: “Это же так просто! Почему не я это сказал?”

Эстетическая ценность детского высказывания, как и высказывания художественного, прямо пропорциональна той степени, с какой нарушаются общественные приличия и этикетные предписания. Творчество – это риск. И не только риск быть непонятым. Иногда как раз наоборот.

Вот едет, допустим, пятилетний мальчик Лева со своей мамой в трамвае по заснеженной столице. Время действия – зима 1953 года. Трамвай проезжает мимо одного из многочисленных портретов усатого человека в военной форме. Тут мальчик Лева на весь вагон звонким своим голосом спрашивает: “Мама, а Сталин когда уже умрет?” Трамвай затихает. Внезапно позеленевшая мама, вместо того чтобы дать вразумительный ответ, на ближайшей же остановке грубовато выволакивает любознательного мальчика из трамвая. Примерно через месяц на этот невинный вопрос был дан исчерпывающий ответ.

А вот, например, тоже с мамой, но уже несколькими годами позже и не в трамвае, а в троллейбусе едет совсем другой мальчик мимо площади Дзержинского (ныне Лубянской). Проезжая мимо чугунного козлобородого истукана, стоящего на высоченном круглом постаменте, мальчик (опять же во весь голос) спрашивает: “Мама, а этот дядя, который вылез из трубы, он кто? Трубочист?” Финал тот же.

А вот, скажем, еще несколькими годами позже и уже другой мальчик – лет восьми – сидит с отцом в коридоре детской поликлиники. Долгая нудная очередь. Папаша читает книжку, мальчик мается и разглядывает стены. Вот плакат о профилактике гриппа. Тут вот велят мыть фрукты перед едой.

В другом месте настоятельно советуют закаляться как сталь. А вот черед портретов каких-то дядек в пиджаках, галстуках и со скучными озабоченными лицами. “Пап! А кто эти дяденьки?” – спрашивает мальчик. Отцу лень объяснять, что означает слово “политбюро”. Поэтому он отвечает лаконично: “Это наши вожди”. – “Ну папа! – говорит сынок с нравоучительной интонацией. – Что ты говоришь? Какие вожди? Вожди же бывают только у диких племен!” Крыть отцу было особенно нечем, но, к счастью, подошла их очередь.

А вот еще, лет десять спустя, другой мальчик утром седьмого ноября 197* года расталкивает свою спящую маму. “Мама, – кричит он, стараясь перекрыть включенный на полную громкость телевизор, – вставай, мама! Вон, уже прямо сейчас парад будет! Вот уже и правительство карабкается на Мавзолей”. Ну как можно было сказать точнее про специфическую пластику наших одышливых геронтократов?

А вот уже совсем недавно маленькая девочка лет трех с чем-то рассматривает яркий плакат на заборе строительной площадки. На плакате что-то написано, а в центре компо-

зиции – большая двухголовая птица, разукрашенная красным, белым и синим цветами. “А это какая птица?” – спрашивает девочка. (Только что они вместе с дедом, которого по странному стечению обстоятельств зовут так же, как мальчика в первой из череды наших историй, Львом, кормили уток в пруду.) “Это герб России”, – честно, но непонятно отвечает дед. “А почему такого цвета?” – “Это цвета российского флага”, – отвечает дед с той же неумолимой честностью. Интересно, что о нестандартном количестве голов вопроса не последовало. Девочка надолго замолкает – совершенно очевидно, что в голове ее происходит серьезный аналитический процесс. Через какое-то время она делится результатом своей напряженной умственной работы. “Это так иногда бывает, – говорит она, – что если попугай игрушечный, то у него бывает две головы”. Боже мой, изумляется дед, “игрушечный попугай”!

Как придумаешь такое!

После прочтения и прослушивания всех этих бесспорных шедевров подмывает воскликнуть: “Будем как дети!”

Воскликнуть-то можно, никто не мешает. Да только не получится. В этом смысле – не получится. Свежий и непредвзятый взгляд на жизнь редко дается взрослому человеку, если он, конечно, не большой художник. Из блаженного детства за нами тянутся совсем другие хвосты: ужас перед социальной ответственностью, пренебрежение причинно-следственными связями, крикливая капризность, беззаветное доверие к сказке, смертельный страх потерять из поля зрения маму-папу, непреклонная уверенность в том, что не ты сам, а этот противный шкаф, лишь он один повинен в том, что ты с разбегу треснул головой об его угол.

Так что нет, не надо – не будем как дети. Тем более что мы и без того как дети. Попробуем быть взрослыми наконец. Лучше поздно, чем никогда.

Скелет писателя

Мне очень хотелось стать писателем. Иногда хочется и теперь. А до этого, как более или менее все нормальные мальчики, я попеременно мечтал стать летчиком, постовым милиционером, знаменитым путешественником, эстрадным конферансье, билетным кассиром, директором подземного перехода. Какое-то время – врачом, как мой дядя Боря, который подарил-таки мне однажды настоящий шприц с набором иглоков. Шприц этот я сразу же принялся яростно втыкать во все, во что он был способен воткнуться (ой, только, пожалуйста, без Фрейда), пока у меня его не отняли.

До канонических космонавтских поползновений дело не дошло: век космонавтики стартовал в ту пору, когда мне было целых тринадцать лет, и я уже прочно воцарился писательского удела. В писательстве, естественно, меня привлекала прежде всего внешняя сторона дела. Меня завораживали выражения типа “в настоящее время я работаю над” или “я собираю материалы для”. Как же были заманчивы в своей таинственной бестелесности эти “материалы”. Меня неодолимо влекла ослепительная перспектива подолгу, подперев ладонью щеку, сидеть за письменным столом, где слева размещалась бы стопка бумаги формата А4, а справа – такая же, но исписанная и исчерканная моим – если бы вы видели каким – почерком. Можно в глубокой задумчивости грызть дужку очков, можно вставать время от времени из-за стола и рассеянно смотреть в окно, за которым “пушистый нежный снежок бесшумно ложился на хрустальные ветви деревьев”. (Запомнить.) Удостоверившись, что за окном все в порядке, что там, как это и положено, “смеркалось”, можно было со вздохом вернуться за стол и снова думать в сидячем положении. А там и обедать позовут.

Есть, есть чем заняться писателю. А пуще всего манила неоспоримая индульгенция, выраженная магической формулой “не пишется мне сегодня что-то”. Это вам не контрольная по алгебре, где “что-то не решается мне сегодня” едва ли прокатит. Собственно же литература ограничивалась некоторым количеством первых фраз некоторого количества нерожденных произведений. Из этих мучительных фальстартов вспомнить, увы, решительно нечего. Это вовсе не то, что первая фраза тоже незавершенного, но безусловно выдающегося произведения одной вундеркиндской девочки, дочки старых знакомых. Когда девочке было лет девять, она ненадолго присела за исторический роман. Начинался – как, впрочем, и заканчивался – этот роман так: “Герцогиня *N.* сошла с ума после того, как узнала о том, что ее дочь незаконнорожденная”. Это, согласитесь, серьезно.

Некоторым детям и вовсе не обязательно примерять на себя писательство, ибо они сами являются воплощенной литературой. Существуют дети (хотя вообще-то не только дети), умеющие создавать вокруг себя мощное литературное поле, не прибегая к особым усилиям. Есть вот, например, один чудесный мальчик, родительские рассказы о котором прочно поселяются в моей благодарной памяти, и я только и жду повода, чтобы... Ну, в общем, понятно.

Ну вот хотя бы это. Мальчик в один прекрасный день спрашивает у своего отца: “Папа, а кто такой Серафимович?” “А тебе зачем?” – недоумевает отец. “Ну, моя же бабушка живет на улице Серафимовича? А я не знаю, кто это”. Суетливо пошелестев в памяти разрозненными листками школьной программы и не найдя там ничего путного, отец промямлил: “Ну, это такой писатель вроде. Написал он... Ну, что-то он написал. Романы какие-то. А! Вот! Вспомнил. “Железный поток”. О чем там речь, не помню, извини”. Мальчик невразумительным этим ответом вроде бы вполне удовлетворился. А примерно через полгода после этого разговора отец повел сына в палеонтологический музей. Это где разные доисторические скелеты и бивни. Любопытный мальчик все внимательно рассматривал, делал какие-то замечания, а потом вдруг ни с того ни сего обратился к тетеньке, по роду службы сидящей

на стуле в углу зала. “Скажите, пожалуйста, – спрашивает вежливый мальчик, – а скелеты людей в вашем музее есть?” – “Ну есть”, – отвечает несколько ошарашенная музейная работница. “Скажите, а скелеты писателей у вас есть?” – “Каких еще писателей?” Тетка совсем ошалела. “Ну, например, писателя Серафимовича”. Что она ему ответила и ответила ли она ему что-нибудь вообще, в данном случае совершенно неважно.

А важно то, что жизнь, вступая время от времени в схватку с литературой и неизменно ее побеждая, сама же литературой и становится. И в каждом шкафу, даже если это детский шкафчик с веселым грибочком на дверце, таится скелет – скелет писателя.

Так само получилось

Тектонические сдвиги последних десятилетий столь разительны и столь эпически масштабны, что мелочи иногда ускользают из нашего заинтересованного внимания. Но мы-то знаем: мелочей не бывает. Особенно таких мелочей, о которых мне хочется напомнить.

Короче говоря, заметили ли вы, что жители наших городов почти перестали плевать на улицах? Ну хорошо, не совсем, я же сказал “почти”. А что было раньше, помните? Не помните? Ваше счастье. Не плюются теперь даже подростки. Они, правда, повадились выдувать из себя довольно омерзительные на вид резиновые пузыри, но зато не плюются. По крайней мере мне так кажется. Активно плюются теперь только футболисты на поле и все остальные в кресле стоматолога.

А вот мальчики времен моего детства плевались непрерывно. Умение эффектно плевать было делом чести, доблести и геройства. Мы плевались направо и налево. Вперед и назад. На дальность и на меткость. Друг на друга и на все остальное. Мы плевались лихо и азартно, бунтуя против нудных и репрессивных норм “приличного” поведения, против учителей и родителей, против Правил юных пионеров и таблицы умножения, против Васька Трубачева и его товарищей. С возрастом одни идиотские привычки, как правило, сменяются другими. Сначала, допустим, жуют вар. Потом пробуют курить за гаражом. Потом – поток портвейна из горла. А вот обыкновение плевать никуда не девается и ничем не сменяется. Оно служит постоянным монотонным аккомпанементом для всех прочих. Взрослые тоже плевались. И тоже довольно много. Но они плевались скучно и деловито, не прерывая разговора, курения и игры в азартные игры.

В помещениях плевать не разрешалось, считалось признаком бескультурья. “Дома небось не плюетесь”, – укоризненно говорила нам уборщица тетя Нюра и была права. В конце 1950-х знакомый моих родителей побывал в командировке в каком-то советском захолустье. Вернувшись, он рассказывал о надписи, которую прочитал в салоне одного из рейсовых автобусов. Там было написано: “Сорить и плевать на пол воспрещается”. Тогда писали именно так – “воспрещается”. Увидев надпись, он возмутился вслух, апеллируя к пассажирской общественной зрелости. “Как же надо не уважать нас, пассажиров, чтобы вывешивать такие вещи, – возмущался столичный командировочный. – Как будто бы мы все только и делаем, что плюем на пол”. Общественность его митинговой страстью заразилась, прямо скажем, несильно. Лишь один представитель пассажирской массы, мужик средних лет, степенно возразил ему: “Те, что писали, поумнее нас-то с вами будут. Им уж видней, что писать, а что не писать”.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.